

Рисунок Л.О.Пастернака



НЯНЯ

ИДЕЯ СЕРГЕЯ ДУРЫЛИНА

кто издает
русские книги

Няня. Кто нянчил русских гениев

«Никея»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус)+86.372

Няня. Кто нянчил русских гениев / «Никея», 2017

ISBN 978-5-91761-632-2

Книга «Няня» представляет собой уникальное собрание воспоминаний выдающихся деятелей русской культуры и науки 19–20-го веков о своих нянях. Идея сборника принадлежит замечательному русскому писателю С. Н. Дурылину. Собрав папку мемуаров своих знаменитых современников и предшественников, он, к сожалению, приступить к этой работе не успел. Однако колоссальное историческое и культурное значение феномена русской няни, «...этой великой матери русского человека только по закону любви, а не по закону родительства», заставило В. Н. Торопову – автора биографии С. Н. Дурылина (ЖЗЛ) – завершить бесценный труд.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус)+86.372

ISBN 978-5-91761-632-2

, 2017
© Никея, 2017

Содержание

От составителя	6
Владимир Иванович Даль	8
Сергей Николаевич Дурылин (1886–1954)	9
Из книги «В своем углу»[4]	10
Из воспоминаний[5]	10
Из мемуаров «В родном углу»	12
Рождение. Кормилица	12
Няня Пелагея Сергеевна	17
Пушкин и няня[36]	43
Стихи, письма, воспоминания	43
Иван Сергеевич Аксаков[48]	50
Софья Васильевна Капнист-Скалон (1796–1861)	51
Воспоминания[49]	52
Николай Иванович Пирогов (1810–1881)	53
Няня Катерина Михайловна[50]	54
Николай Петрович Макаров (1810–1890)	57
Мои семидесятилетние воспоминания...[52]	58
Мои родители и безотрадное младенчество	58
Мое детство, многосторонняя детская деятельность и начало обучения	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Няня. Кто нянчил русских гениев

К 130-летию со дня рождения Сергея Дурылина

Посвящается Ирине Алексеевне Комиссаровой-Дурылиной и ее сестрам, сохранившим литературное наследие Сергея Николаевича Дурылина

Идея Сергея Дурылина

Составление, подготовка текстов, комментариев, биографические справки В. Н. Тороповой

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р16-612-0479

© Издательский дом «Никея», 2017

От составителя

У Сергея Николаевича Дурылина было заветное желание написать книгу о русской няне, «об этой великой матери русского человека только по закону любви, а не по закону родительства», о ее историческом и культурном значении.

В художественных произведениях Дурылина нередко присутствует няня – источник тепла и любви, изливаемых на душу ребенка. «Детским богословием» назовет Дурылин чистую православную веру няни, которую она прививает своему чаду.

«Историй педагогики существует множество, – пишет Дурылин, – в том числе русской педагогики, но все они педагогику видят только в школе, педагогами считают только воспитателей и учителей по профессии, но ни мать, растящая ребенка, ни бабушка, воспитывающая своих внуков, ни няня, охраняющая все детство ребенка, не разлучающаяся с ним ни на минуту, никогда не попадают в историю этих педагогик: они вовсе „не педагоги“. А между тем, в течение тысячелетий именно педагогика матерей, бабушек, нянь и была исторической педагогикой целого народа». Сергей Николаевич утверждал, «что русская няня в религиозном, нравственном, эстетическом развитии русского человека имела несравненно большее значение, чем сотни всяких педагогов, публицистов, просветителей, проповедников и т. д., и что русскую науку и историю можно горько упрекнуть за то, что она не уделила никакого внимания историческому подвигу русской няни, тогда как русская поэзия и художественная литература, в числе немногих положительных образов, сохранили и возвеличили именно образ русской няни»¹

Известный философ Н. А. Бердяев поражался, как русская няня «могла вырасти на почве крепостного права»: «...Горячая православная вера, необыкновенная доброта и заботливость, чувство достоинства, возвышавшее ее над положением прислуги и превращавшее ее в члена семьи. Няни в России были совсем особым социальным слоем, выходящим из сложившихся социальных классов. Для многих русских бар няня была единственной близкой связью с народом».²

В богатейшей папкотеке Сергея Николаевича Дурылина хранилась и папка «Няни». Он собрал в нее только малую часть материалов, но подложил список авторов, чьи мемуары хотел бы видеть в будущей книге. Его работа на этом приостановилась. Он сам признавался, что не хватит ни времени, ни сил завершить ее.

В 60-е годы прошлого века, когда я жила в доме Дурылина в Болшеве, Ирина Алексеевна привлекала меня к обработке архива. Передавая мне папку «Няни», она попросила подготовить книгу к печати, а при возможности, издать, и если найду, дополнить ее другими материалами о нянях, которые не успел или не смог из-за поздней их публикации вложить в папку Сергей Николаевич. Теперь я выполняю ее волю.

Сергей Николаевич наметил два варианта построения книги: по времени, на которое пришлось детство мемуариста, или по выбранной им позже профессии (писателя, поэта, ученого, артиста, общественного деятеля, путешественника, художника, музыканта, педагога). Воспоминания людей всех этих профессий нашли место в настоящем издании. Однако композиция сборника построена по первому варианту. При этом в самое начало книги вынесены мемуары вне хронологии – в них авторы делятся мыслями о самом феномене такого явления, как русская няня. О его влиянии на судьбы нескольких поколений русских людей, о роли няни в вос-

¹ Дурылин С. Н. Воспоминания о Г. С. Виноградове. РГАЛИ. Георгий Семенович Виноградов (1886–1945) – этнограф, доктор филологических наук, профессор Иркутского университета, специалист по детскому фольклору. Друг и корреспондент С. Н. Дурылина.

² Бердяев Н. А. Самопознание. М., 2006.

питании ребенка, о ее огромном значении для русской культуры, прежде всего, XIX века. И, в первую очередь, – это мысли самого Дурылина.

Авторы воспоминаний часто упоминают о том, что пишут не для печати, а для своих детей и близких. Однако со временем они сами или их потомки все-таки публиковали мемуары, справедливо сочтя их важными свидетельствами эпохи, в которую они жили. А для нас это важные свидетельства роли русской няни в истории русской культуры.

Неслучайно рядом с некоторыми именами Дурылин оставил пометки: «Эпоха», «Место действия – имение... город..., деревня»; о влиянии няни: «няня рассказывает жития святых», «няня учит грамоте»... Эпоха – это XIX и начало XX века.

Остальное ясно из текстов. Сергей Николаевич, конечно, сделал бы сборник иначе, и сделал бы блестяще, снабдив каждый мемуар своими мыслями, выводами. Мы же сделали, что могли, и благодарны С. Н. Дурылину за возможность подарить читателям уникальную на сегодняшний день книгу.

Сергей Николаевич выписал из книги И. С. Аксакова (Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886) слова, которыми, возможно, хотел предварить книгу о русских нянях: «Благодаря им, этим высоко нравственным личностям, возникавшим среди и вопреки безнравственности исторического социального строя, даже в чудовищную область крепостных отношений проступали, порою, кроткие лучи все облагораживающей, все возвышающей любви. Условия зависимости и неравенства согревались человечностью, даже окрашивались каким-то мягким, поэтическим колоритом. Николай Афанасьевич³ вполне напоминает знаменитую няню Пушкина, воспетую и самим поэтом, и Дельвигом, и Языковым. Этим няням и дядькам должно быть отведено почетное место в истории русской словесности. В их нравственном воздействии на своих питомцев следует, по крайней мере, отчасти, искать объяснения, каким образом в конце прошлого и первой половине нынешнего столетия, в наше оторванное от народа общество, в эту среду, хвастливо отрекавшуюся от русских исторических и духовных преданий, пробивались иногда, неслышно и незаметно, струи чистейшего народного духа. Откуда и чем питалось и поддерживалось в наших, по-видимому, вполне офранцузенных поэтах и деятелях проявлявшееся в них порою истинно Русское чувство и Русская мысль? Да и вообще, кажется нам, история умственного общественного развития в России едва ли может быть вполне понятна без частной истории семей, без оценки той степени участия, по-видимому, неразумного, самовольного, непрошенного, но, тем не менее, часто спасительного, которое в нашей личной и общественной судьбе приходится на долю семьи и быта, непосредственного действия предания и обычая».

Выражаю благодарность издательству «Никея» за предоставленную возможность издать книгу, выражаю благодарность Марии Анатольевне Голубцовой и Анатолию Ивановичу Торопову за то, что они создали мне обстановку, благоприятную для работы. Искренне благодарю Галину Евгеньевну Померанцеву за моральную поддержку, а также сотрудников Мемориального Дома-музея С. Н. Дурылина: Анну Игоревну Резниченко, Елену Васильевну Рябову, Татьяну Николаевну Александрову за предоставление материалов, необходимых для проверки текстов, которыми я располагаю, и внесения дополнений.

³ Хлопов Н. А. – дядька поэта Ф. Тютчева.

Владимир Иванович Даль

НЯНЯ, нянька, нянюшка. ж. – Женщина, которой поручен надзор за ребенком; иногда вместо Пестун, о мужчине. /.../ Встарь, при девицах приставлялась няня до самого замужества и сохраняла почетное звание это навсегда. /.../

Толковый словарь живого великорусского языка

Сергей Николаевич Дурылин (1886–1954)

Яркий представитель культуры Серебряного века, писатель, поэт, философ, религиозный мыслитель, педагог, историк театра, археолог, этнограф. Родился в семье купца первой гильдии Н. З. Дурылина. Дурылинские описания купеческого быта, языка, строя жизни, сильных народных характеров – одни из лучших в русской прозе.

Из книги «В своем углу»⁴

Из воспоминаний⁵

Самые великие русские богословы были няни. Только их богословие, несомненно, глубоко, целомудренно в слове и утешительно в деле.

Няня ставила меня перед образом – «Семь спящих отроков»⁶ – с всегда горящей, темно-малиновой с белыми пятнышками лампадкой и учила шептать молитву:

«Ангел мой хранитель! Сохрани меня и помилуй, дай мне сна и покою и укрепи мои силы».

Этой молитвы нет ни в каких молитвенниках. Ее сложила сама няня, для нас, детей, – сложила тут же, перед иконой. И если бы случилось, что я забыл все молитвы, я не забуду этой. Сквозь холод годов, сквозь ложь и муку жизни, сквозь щель бывания протасил я ее, и вот вспоминаю, почти старик. Как все в ней свежо, как просто, как целомудренно-кротко, и сколько любви к тому, для кого она сложена, и сколько прямой веры к Тому, к Кому обращена!

О, милое немудрое богословие няни и мамы! Ты одно неопровержимо. Ты одно целишь и прощаешь.

И падает, падает снег – милые белые мухи детства – над их могилками на Даниловском кладбище, на которые с весны не выбрал времени собраться, но к которым бы приткнулась душа и не отошел бы.

(Нянины именины были 8 октября. Пелагея Сергеевна Мурашова. Умерла в 1908 году, на Пасхе в четверг, 17 апреля.)

Милая белокурая девочка, приятельница черненькой Наташи Кравченко.⁷ «Лисичка-сестричка и волк». Длинные две беленькие косички, которыми для мальчишек так соблазнительно играть в лошадки, вместо вожжей. Учится чинно и деловито, как все хорошие девочки. А в глазах – лисичка-сестричка. И русская, русская – хоть в учебник этнографии. И няня у ней отличная, русская, из старого, заслуженного рода русских нянь. Папа, мама, бабушка не учили молитвам: не верят или мало верят в Бога (папа только на Светлую заутреню ездит в церковь). А няня научила молитвам. Няня водит в церковь. До Тани она была у Вишневских⁸ (артист Художественного театра) и нянчила, и тоже научила и Шушу, и Наташу.

Русской няне должно быть место не только в «Истории русской литературы», но и в истории Русского Православия: то, что няня нашептала в детской, было прочнее того, чему научил батюшка на «Законе Божию» и что начитал профессор богословия в университете. Няня всегда была мудрее Филарета, и ее неписанный катехизис крепче его знаменитого, «рассмотриванного»⁹ и «одобренного Святейшим Синодом». Все проходит – проходит и вера, и все снова

⁴ Дурылин С. Н. В своем углу. Тетр. VII. № 36. / Сост. и прим. В. Н. Тороповой; предисл. Г. Е. Померанцевой. // М., Молодая гвардия. 2006. – (Библиотека мемуаров: Близкое прошлое; Вып. 21).

⁵ Дурылин С. Н. В своем углу. Тетр. VII. № 36. / Сост. и прим. В. Н. Тороповой; предисл. Г. Е. Померанцевой. // М., Молодая гвардия. 2006. – (Библиотека мемуаров: Близкое прошлое; Вып. 21).

⁶ Семейная икона Дурылиных «Семь спящих отроков Эфесских», сохраненная Сергеем Николаевичем во всех его путях и перепутьях, находится в Мемориальном доме-музее С. Н. Дурылина в Болшеве.

⁷ Бокарева Татьяна Ивановна (1916–2005) – врач, одноклассница Наташи Кравченко. Кравченко Наталья Алексеевна (р. 1916) – художница, дочь художника-графика Алексея Ильича Кравченко (1889–1940). Обе девочки были ученицами С. Н. Дурылина.

⁸ Вишневский Александр Леонидович (настоящая фамилия Вишневецкий; 1861–1943) – актер, один из создателей Московского Художественного театра, Герой Труда (1933), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1933). Его дети: сын – Александр, дочь – Наталья.

⁹ В этом написании слово выправлено Дурылиным в машинописном тексте.

приходит. И вот, когда после долгих-долгих годов, в которые, казалось, все прошло, что было от «веры», «придет» опять нужда верить, «придет» опять позыв молиться, то никому и никогда не вспомнится тут точное великолепие филаретовой богословской алгебры: «Промысл Божий есть непрестанное действие Силы и Всемогушества Божия, коим Он...» и т. д., а вспомнится вот этот тихий нянин шепот, вспомнится верба в ее сморщенной руке, красное яичко, букетик на Троицу, неграмотная ее «Богородица Дева радуйся...» – и по этой ниточке, самопрядной и бедной, а не по железному канату катехизиса, возвращаются к прошлому, к детской вере и молитве. Христос детский – самый ясный и близкий из всех ликов Христовых. Он самый доступный – за плечами, и ничего, ничего Ему не надо, кроме того, что есть у всякого ребенка: кроме нелукавого детского сердца. Он самый неопровержимый: что Ему Ренаны, Штраусы и Дарвины.¹⁰ Им нет ходу в детскую. Детская мала, а они велики: что им там делать?

¹⁰ Ренан, Жозеф Эрнест (1823–1892) – французский философ и писатель, историк религии, семитолог. / Штраус, Давид Фридрих (1808–1874) – немецкий философ, теолог, историк, публицист. / Дарвин, Чарлз Роберт (1809–1882) – английский натуралист и путешественник, автор теории происхождения видов.

Из мемуаров «В родном углу»

Рождение. Кормилица

Я родился в Москве, «в день, всегда постный», в Воздвижение Животворящего Креста, в самое время, когда у Богоявления, что в Елохове, заблаговестили в большой колокол к поздней обедне, – стало быть, в 9 часов утра. /.../

Я был второй ребенок у моей матери и тринадцатый у моего отца. От первого брака у него было четверо сыновей и семеро дочерей, из которых только старшая, Анастасия, была замужем; все другие жили в доме отца: двое старших сыновей наверху, где были парадные комнаты и спальня отца и матери, остальные – внизу.

Первенцем моей матери от отца был брат мой Коля. В семье было три Николая: отец, Николай Зиновеевич, старший его сын от первой жены, Николай Николаевич, и старший же сын от моей мамы, тоже Николай Николаевич, которому первый Николай Николаевич приходился крестным, а по летам годился бы в отцы.

В год моего рождения отцу было 54 года, матери – 34. /.../

Мама не кормила меня сама. Я думаю, что это не потому так было, что она была больна, и ей нельзя было кормить, а потому, что таков был тогда обычай в купеческом и дворянском кругу, поддерживавшийся и врачами. Ни одного из своих сыновей мама не кормила сама. Еще задолго до рождения ребенка припасали кормилицу. И для Коли, и для меня припасала кормилиц бабка, Елена Ивановна Магницкая, которая и принимала нас. Это была сухошавая, высокая старушка с мягкими и благородными чертами лица, отличавшаяся крайней деликатностью и умелою обходительностью. В строгих, темных платьях, в нитяных, каких-то кружевных перчатках на тонких маленьких руках, с тонкой, дорогой шелковой кружевной косынкой на волосах (такою я ее помню), она была вхожа и любима всюду, где принимала. Это была старушка из Тургенева, а не из Островского, как ожидалось бы по ее профессии. Мы ее любили. Любили и ее запах – старой, драгоценной фарфоровой маркизы, настоявшейся в шкапу рядом со старинными духами и эссенциями в граненых флаконах. К нам в дом ездил и ее сын, служивший, кажется, в государственном банке.

Кормилица моя была Прасковья Кононовна. Она была крестьянка Московской губернии, Волоколамского уезда. Выкормив меня, она осталась горничной у сестер. Они звали ее *Rachette* и очень любили ее. Из всех кормилиц, перебивавших у нас в доме, она стяжала себе самую лучшую славу, и не было в доме человека, который не любил бы ее. Она умерла, когда я еще был совсем мал, но память ее во мне сильна: чего не доставало у меня в сосуде памяти, то доливали туда те, кто ее знал, и влили самой благодарной, любящей рукой.

Она была женщина настоящей, великорусской, деревенской красоты: высокая, стройная, с лебединой, но не ленивой, а неторопливо-спокойной походкой, с открытым, светлым лицом, с большими карими глазами под туго и точно вычерченными дугами бровей; как походку ее нельзя было назвать иначе, как лебединой, так и брови иначе, как соболиными: эти речения из народной поэзии лучше и сочнее всего выражали ее русскую, в духе этих песен, здоровую, благоволятельную красоту. Таков же был и ее характер. С ней всем было легко, ладно и весело. Она была из тех русских женщин, от которых никто не получал другого слова, кроме ласкового, и иного хлеба, кроме мягкого. Меня она выкормила отлично. До полутора лет, до постигшей меня болезни, переломившей мой рост, а может быть, и мою судьбу, я был крепышом, бутузом и, должно быть, так переливалась во мне хорошо кровушка по жилам, что был я сверх того забиякой. У меня нет, конечно, даже и тени воспоминаний от Прасковьи Кононовны как от моей кормилицы, но это полнейшее отсутствие и есть, должно быть, лучшее воспоминание о

ней: очевидно, все было у меня с кормилицей так хорошо, так родно и сладко, что нечего был и помнить: ведь в воспоминаниях раннейшего своего детства Л. Н. Толстой, да и С. Т. Аксаков, запомнили, прежде всего, не то, что было хорошо, а то, что было плохо: ощущения тесноты от пеленок и болезни. Ничего этого я не помню, и никто не помнил, – стало быть, я, ребенок, для нее чужой, жил и родился с моей кормилицей, как ее собственный. Чего же большего тут можно хотеть?

Мать и отец уважали и любили ее. Она ладила с няней нашей Пелагеей Сергеевной, уже ходившей тогда за старшим моим братом Колей. По душе она была и осталась частью семьи и прочей прислуги. Очень жалею теперь, что не было снято с нее и со мной фотографии. Я тому виной. С этим связан первый мой бунт в жизни, и о первом же приходится мне горько пожалеть. В то время был обычай снимать кормилиц с выкормышем, и сохранились такие снимки с братьев моих: кормилица стоит в русском народном шелковом сарафане, кисейная рубаша с пышными рукавами, несколько нитей с цветными бусами на шее, шелковый, расшитый золотом кокошник на голове, ленты от бус и кокошника, скрученные назад в бант. Кормилица держит на руке питомца в платьице; ему год-полтора – время наступающей его разлуки с кормилицей. Хотели так же вот снять и меня с кормилицей и с бабушкой – крестной моей, – но я почему-то поднял такой плач по дороге в фотографическое заведение, что пришлось вернуться домой. И вышло так, что ни кормилицу, ни бабушку не привелось уже «снять» после того моего бунта. Они умерли обе, и мама долгие годы спустя пеняла мне иногда, что из-за моего каприза нет у нее карточки любимой матери.

Кормилица моя скоро погибла. Я смутно помню, что ее куда-то увезли больную, а потом мне сказали, что она умерла, и когда мы ездили на Светлой неделе на кладбище, меня приво-дили к каменному памятнику в виде аналоя с раскрытым на нем Евангелием, я молился за упокой души рабы Божией Параскевы. Потом приезжал из деревни ее брат, Степан Коныч, плотник, коренастый мужик с рыжеватой бородой, тихий, приятный, пахнущий дегтем и чем-то ржаным и холщовым. Он доставал из чистого холщового мешка ржаные круглые лепешки, перечеркнутые какими-то пухлыми квадратами, и подавал мне и брату этот деревенский гостинец. Мы ели лепешки – необыкновенно вкусные, сдобные, крутые, а мужик рассказывал мне, что моя молочная сестрица, Сашенька, здорова и мне кланяется. Иногда он привозил и ее самое. Это была деревенская девочка, голубоглазая, русоволосая, курносая, высокая – необыкновенно для меня приятная и немножко загадочная.

Между самой младшей сестрой моей и мною была разница в семь лет, а тут вдруг появлялась у меня сестра, да еще со странной, какой-то необыкновенной степенью родства: бывают родные, бывают двоюродные, даже троюродная сестра, а тут вдруг – «молочная»! И я очень любил Шуру, и заботился о ней, дарил ей игрушки, качался с нею на качелях. Она, впрочем, была года на три – или больше – старше меня. Шуру оставляли у нас гостить. Потом ее увозили опять в деревню, снабдив подарками, ситцем на платье, платками и т. п. Степана так не одаривали подарками для его жены, детей и для него самого. От няни я узнавал: «Папаша опять дал кормилицыну брату на корову».

Но я так и не знал, отчего умерла моя кормилица. Улавливал я только – каким-то вторым детским чутьем – рядом с ее именем имя нашего приказчика, жившего в нашем же доме, Ивана Степаныча, – и всегда упоминавший кормилицу хвалил и жалел, а приказчика бранил и осуждал. Дальше я узнал – опять-таки этим вторым слухом, – что у кормилицы родился мальчик, и от этого-то она и умерла. Где мальчик – я не знал.

Второй слух сказал мне правду: бедная моя кормилица увлечена была Иваном Степанычем (это был приказчик с достоинством: чистый, барственный, с холеными усами, щеголевато одетый, вымытый, вычищенный и не первой молодости), понесла, была отвезена в Воспитательный дом, в отделение для рожениц, и там, родив сына, умерла. Мальчик тоже явился не жилец. От мамы – второй мой слух, помнится, уловил даже: «подлый человек» – чистому и

пристойному Ивану Степанычу, а горячая моя няня, живая в оценках, нередко смахивала слезу о своей приятельнице-«кормилке» и даже досадовала на нее горькой досадой любви – ненужной казалась всем эта любовь умной, прекрасной, полной нравственных достоинств женщины к человеку, у которого не было достоинства для должного ответа на нее...

Родство мое «молочное» с Шурой соблюдалось во все время моего детства, перешло и в мое отрочество. Деревня тщательно поддерживала родственную связь, строя на ней в некоторой степени свое хозяйственное благополучие, а город связь эту признавал и не тяготился даже распространительному ее толкованию. Помнится, приезжала к нам как-то и жена моего молочного «дяди» Степана, умная, светлолицая баба с ребенком, и также получала дары от матери и отца.

Это «молочное родство» отошло теперь в область далекого предания, и потому стоит сказать о нем несколько слов.

Обычай зажиточных семей держать кормилиц и отдавать им на выкормление всех детей, когда в этом нет острой, т. е. медицинской нужды, принято резко критиковать, и резче и блистательнее всех нападал на него Л. Н. Толстой, видевший перед глазами пример светской женщины, выкормившей без кормилицы 13 человек детей, – своей жены. Он прав, конечно, мать – естественная кормилица своего ребенка, и нужно радоваться, если это понятно теперь всем. 50–40 лет тому назад было не так. Нельзя тут винить одних дам и купчих, что они, родив детей, приставили их к груди чужой женщины, ради этого лишавшей груди собственного ребенка. Вина, – если нужно непременно кого-то винить, – тут лежит, прежде всего, на врачах-акушерах, внушивших им мысль – будто бы научную – о вреде кормления, а вина этих матерей больше всего в том, что они науке этой верили. Утверждают, что многие женщины достаточного круга не кормили сами, чтоб сберечь свою красоту: фигуры, грудь и пр. Но для этого им, прежде всего, следовало бы не рожать, а они рожали: во всех кругах – и дворянском, и купеческом, не говоря уже о круге духовенства, – бывали семьи в восемь, десять, в тринадцать человек детей, чего теперь нет вовсе ни у кого ни в городе, ни в деревне. Моя мать родила пятерых детей от старого мужа, никогда никуда не «выезжала», работала, не покладая рук, в хозяйстве, ведя семью в 14 человек детей, не заботилась вовсе ни «о талии», ни «о бюсте» – и, однако, сама не кормила. Здоровьем она не была сильна, но, сколько знаю, тяжело болела лишь после двух родов (мертвый младенец и Вася, живший несколько дней), но страх перед кормлением был и у нее, очевидно, так силен и так поддержан врачами и бабкою, что у нас в доме не переводились кормилицы. То же было и у замужних моих сестер.

Кормилицы были в каждом купеческом доме. Удивляюсь, почему Островский, перебравший по многу раз в своих комедиях всех обитателей купеческого дома, не вывел кормилицы, одной из характернейших фигур этого дома. Кормилице не повезло в литературе, как повезло няне, может быть, потому, что няня была пестуном и постоянным спутником одного, двух, а иногда – редко, но бывало – и трех поколений, а кормилица бывала «прохожей», лишь проходившей через семью и, пройдя, удалявшейся из нее навсегда. Зато прохождение ее было самое тесное, и «молочное родство» – не шутка, а крепкая правда жизни, на которую никто – ни художник, ни историк, ни физиолог общества – не обратили еще должного внимания. Некрасов обмолвился стихами:

И хлеб полей, возделанных рабами,
Идет не впрок, —

и сам же посмеялся ему, но, должно быть, правда, что «хлеб», «возделанный рабами», и «хлеб», возделанный иными руками, по-разному претворяются в кровь, тело и мозг поколений. /.../

Это должно сказать о хлебе. Что же сказать о живом, материнском токе бытия, дающем жить младенцу в самый первый, самый важный и трудный возраст его жизни, когда устрояется «вся внутренняя и внешняя» его, когда он – как личность – копит силы на всю жизнь? И кто подумал определить, сколько русского, простонародного, мужицкого, православного просачивалось в кровь и мозг Пушкина, Лермонтова,¹¹ Тургенева, Толстого, Достоевского¹² от молока их кормилиц, простых русских баб?

У С. М. Соловьева¹³ есть превосходная строфа-признание:

О, родная, никогда бы
Стих мой не был так уныл,
Если б кровь рязанской бабы
Я глубоко не таил.

Но к скольким русским поэтам, писателям, художникам, мыслителям были бы приложимы эти стихи, если бы слово «кровь» заменить в них словом «молоко»!

Кормилица давала младенцу второе материнство в ранний возраст его бытия, конечно, более ощутимое, чем материнство зачатия и рождения. Выкормление кормилицей ребенка – это не просто питание ребенка женским молоком, как, может быть, питание его из рожка молоком козым или коровьим, даже тем же женским, предварительно выдоенным из груди, – нет, это живое, великое материнство кормления, действительно, второе материнство после материнства рождения. Оно требует от матери по кормлению непрерывного кровного попечения о ребенке, оно несет ребенку грудную ласку, сердечное тепло и тихий привет и уют, под неисследимым влиянием которого складывается в первую осязаемость и видимость начатки характера ребенка, под тихую верную заботу которого пробиваются и крепнут первые ростки личности ребенка. Мать родившая переуступает кормилице огромную долю своего материнства: она переуступает ей и право на первую колыбельную песню, т. к. первые засыпания ребенка – у кормящей груди с материнским соском во рту. Право на колыбельную песню! – как это много! У первой колыбели Лермонтова раздавалась не изящная *berceuse* (колыбельная песня – пер. с фр.) французского поэта, не чувствительная песенка русского сентименталиста, а грустная «байка» и «баюкалка» тамбовской крепостной бабы, и такая же баба пела, кормя грудью, над Пушкиным, Толстым, Достоевским, и та же баба ласкала их, барчат, тою же простою, задушевною, народною, православною лаской, которой привечены ею, при их начале бытия, все те Савельичи,¹⁴ матери-казачки,¹⁵ мужики Марей¹⁶ и Акимы,¹⁷ скорбь и беду которых они изображали. Воистину, не один народный поэт, а все русские поэты золотого века русской поэзии могли бы сказать, что «стих их не был бы так уныл»,¹⁸ а сердце не было бы так собиенно сердцу народному, если бы они не были выкормлены грудью одной и той же русской бабы, с одним и тем же запасом тепла, любви, материнства, грусти и песен. И вековой опыт, и мудрый суд

¹¹ «Малютка и мать его были окружены всевозможными заботами. Из Тархан уже вперед, до срока, прислали двух крестьянок с грудными младенцами. Врачи выбрали из них Лукерью Андреевну в кормилицы к новорожденному. Она долго потом жила на хлебах в Тарханах. И Михаил Юрьевич, уже взрослый, не раз навещал ее там». (Висковатов. Лермонтов. М., 1926. С. 13). (Прим. С. Н. Дурьлина).

¹² Его брат, А. М. Достоевский, в своих правдивых «Воспоминаниях» рассказывал немало о кормилицах в их доме. Братья Достоевские все были вскормлены чужими грудями. (Прим. С. Н. Дурьлина).

¹³ Соловьев Сергей Михайлович (1885–1942) – поэт, внук историка С. М. Соловьева, племянник философа В. С. Соловьева, троюродный брат А. Блока. Друг С. Н. Дурьлина.

¹⁴ Савельич – крепостной дядька Петра Гринева из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина. (Прим. А. Б. Галкина).

¹⁵ См. стихотворение М. Ю. Лермонтова «Казачья колыбельная песня» (1840). (Прим. А. Б. Галкина).

¹⁶ См. рассказ Ф. М. Достоевского «Мужик Марей» в «Дневнике писателя» (1876, февраль). (Прим. А. Б. Галкина).

¹⁷ Герой драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть» (1886). (Прим. А. Б. Галкина).

¹⁸ От ямщика до первого поэта. // Мы все поем уныло. (А. С. Пушкин). (Прим. С. Н. Дурьлина).

народный прав: тут есть действительное родство – родство по материнству кормления. Материнство в полном и точном смысле слова – это материнство по утробе и по молоку. Но если мы признаем материнством и материнство только по одной крови, то также должны мы признать материнством (пусть и второго чина!) материнство по кормлению. Было бы высоко интересно и важно знать *этих* матерей Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, но мы о них ничего не знаем. Не знаем, так должно, по крайней мере, помнить, что Пушкины и Лермонтовы – их дети так же, как дети своих матерей по утробе.

Было что-то глубоко важное в том, что около каждого почти ребенка дворянской или купеческой семьи стояла его вторая мать – крестьянка, – и что у этого барского или купеческого дитяти были братья и сестры в деревне – крестьяне. Братья и сестры! Меня, еще ребенка, пора- жало, что Шура – моя сестра, что ее большие и маленькие нужды и горя – нужды и горя моей сестры. Меня это ужасно радовало и страшило, и смущало: а все ли я сделал для нее, что мог? а не обижена ли она мною? а не обижена ли она другими, чего я и не приметил? И я старался быть на страже около нее: не обидеть бы ее в игре случайно, не отгадать бы неверно, чего она хочет. А она дичится, как деревенская девочка, и нелегко выпытать, чего, действительно, она хочет. В особенности страшили меня – именно страшили! – ее слезы. «Шура плачет», – таин- ственно объявлял мне младший брат и заглядывал мне в лицо; смысл заглядывания был тот: «Что ж ты? Ведь это *твоя* сестра (это было особенно поразительно и невместимо: *моя* сестра не была сестрой *моего* брата!), ты ее брат, отчего ж она плачет? Не от тебя ли?» Мама тоже, заглядывая мне в глаза, мимоходом выпытывала: «Сережа, ты не знаешь, отчего Шура пла- чет?» Наконец, и няня туда же: «Верно, хаосник, чем-нибудь девчонку обидел. Отчего Шура плачет?» – и взгляд на меня. Все на меня, а не на брата. Я должен знать, я должен отвечать. *Моя* молочная сестра.

И я это чувствовал, и я отвечал, прежде всего, себе самому. Я начал приставать к маме: Шуре надо то, Шуре надо другое. Шуре скучно. Шуру надо свезти в «город», т. е. в ряды, в лавки, в магазины. Я всех тормозил и всем надоедал. Ворчали, но понимали – нельзя иначе: я был молочный брат. /.../

Но родство с матерью, с моей матерью по материнству кормления, я сознавал тогда меньше, чем сознаю теперь. Часто-часто твержу я примечательные строки Ивана Коневского:

В моей крови великое боренье —
О, кто мне скажет, что в моей крови?
Там собрались былые поколения
И хором ропщут на меня: живи!¹⁹

К этому темному, но живому ропоту «поколений» примешивается всегда и тихий, при- ветливый голос той, с которой я связан не кровью колена, а живым током материнства, а через нее связан с русской деревней, с ее и сладким, и горьким бытийственным корнем. И часто, думая о себе и стремясь осмыслить «дела и дни» свои, я спрашиваю себя при самодопросе: «Ты ли это тогда во мне говорила, грустила, ворожила, молилась, вторая мать моя Прасковья Кононовна, крестьянка давних вотчин Волока Ламского? Твой ли я сын мужицкий был в том или другом деле моем или помышлении?»

На это нет и не может быть ответа, но вопрос этот не молкнет во мне, чем дальше уходит жизнь моя от ее истока.

¹⁹ Коневской Иван Иванович (наст. фам. Ореус; 1877–1901) – русский поэт, один из основоположников и идейных вдохновителей русского символизма, литературный критик, автор статей о поэзии и живописи, опубликованных в альманахе «Северные цветы», рупоре идей русского символизма. Лирический сборник Коневского «Мечты и думы Ивана Коневского 1896–1899» издан в 1900 году в Петербурге на его же средства. Посмертный сборник «Стихи и проза» (М., 1904) редактировал идейный сподвижник Коневского В. Я. Брюсов. (Прим. А. Б. Галкина).

Прошлое само осудило себя уже тем одним, что оно стало – прошлое, и потому нет нужды ни в каком суде над ним.

Кормилиц больше не будет в русских семьях, у русского ребенка, но многие русские дети, теперь уже старики, отзовутся о них «с благодарностию: *были*», как о верных и добрых «спутниках»²⁰ самой ранней поры своей.

И даже самая одежда их, над которой смеялся тот же Толстой, – и, действительно, иногда на фоне современной жизни, казавшаяся маскарадом, – не была такой по существу: этот кокошник, бусы, сарафан, рубашка из кисеи – что это такое, как не исконная, древняя одежда русской женщины? В этой одежде баба из царского села Измайлова, баба прямо из курной избы входила в терем к маленькому царевичу Алексею, будущему царю, и все кругом, боярыни, царевны и царицы, ходили в таких же одеждах, но сшитых из шелка и парчи. Через сто лет в этой одежде входила такая же русская баба в детскую к какому-нибудь маленькому князю Вяземскому или Одоевскому; кругом были уже люди в других одеждах, в фижмах и пудренных париках. А она была все в том же сарафане, и так же расстегивала рубаху, спуская с плеч проймы, когда давала грудь маленькому Лермонтову, окруженному матерью, бабушкой в платьях *empire*. В этой же одежде входила она и во второй половине XIX столетия в дворянские и купеческие дома, где все обрядились в сюртуки и платья с турнюрками и пышными рукавами. Ее одежда стала казаться смешной и маскарадной только потому, что она – вечная русская мать-кормилица – не участвовала в пестром маскараде жизни, маскараде эпох, культур и мод, через который прошла, ничем и ни в чем не изменившись. /.../

Няня Пелагея Сергеевна

Если б я был способен, написал бы, что вот жили такие люди: мама, няня – и говорили, ворча на меня: «Ну, это его же царствию не будет конца!» (мама): ждет не дождется, бывало, чтоб я шел обедать, а я «занят», пишу или читаю какой-нибудь «Аграрный вопрос»; или: «Ну, какой ты зрячий!» (зряшный, пустой, от «зря» – няня), и ссорились, и плакали, и ставили свечки «Угоднику» или «Заступнице», и желали мне счастья, и копались, «гоношились» (мамино слово) около меня в детстве до молодости, и были самые простые люди без «идей», и все это была ЛЮБОВЬ, т. е. то великое, таинственное, редкое на земле, о чем тосковали, чего искали Достоевский и Толстой, и если б написать это так, как надо (и как я никогда не напишу), то это и значило бы *все* сказать, что надо, – надо *всем*, каждой 1/2000000000 от человечества. Для этого-то, – чтобы *это* сказать, – и существует искусство. Но не то, что сказать, а произнести *два слова*, но *верно* и так, как *надо*, – и для этого нужно так много, что чувствуешь себя жалким побирушкой, у которого ничего нет.

И все-таки, вопреки всему /.../ хочется произнести эти два слова потому, что душа и совесть того требуют.

Я говорил о бабушке, о маме, об отце, о кормилице. Теперь речь будет о няне. /.../

Няня Пелагея Сергеевна пришла в наш дом к моему единокровному и единоутробному брату Коле, бывшему старше меня на полтора года, пришла тогда, когда ушла кормилица, то есть незадолго до того, как я родился.

Я рано «пошел», и пошел уверенно, быстро, даже стремительно.

Изустные летописцы удостоверяют, что первые мои встречи с няней были стычками с нею. Я еще был под полным попечением моей кормилицы, а Коля уже был на попечении няни, горячо полюбившей своего питомца, как все, кто только знал этого удивительного ребенка.

Маленький, до полутора года, я был толстый, краснощекий, проказливый бутуз. /.../

²⁰ Цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Воспоминание» (1828): О милых спутниках, которые наш свет Своим присутствием для нас животворили, Не говори с тоской: их нет, Но с благодарностью: были.

Коля, старшенький братец, мирно играл в кубики и строил что-нибудь на низеньком, плетеном из тростника столике. Няня, с неизменным чулком (она была великолепной искусницей в этом деле), следила за его постройками. Я вбегал к Коле из своей особой маленькой детской, где жила кормилица, оставшаяся служить у нас дома. Няня заранее примечала: топ, топ, топ.

– Ишь, топает, озорник!

Я вбегал в Колину детскую, прямо к столу, и вмиг сшибал пухлой рученькой все Колины постройки. Он не противился, не ударял меня, а только приговаривал кротко, удерживая слезы:

– Что ты, малявенький! Что ты!

(Эти слова совершенно точны: и няня, и мама их запомнили.)

А няня грозила мне:

– Я тебе, озорник, за хохол!

(У меня надо лбом торчал высокий хохол.)

А озорник, совершив свой разрушительный набег, уже давно неся к кормилице, как в неприступную крепость.

Няня – вся на стороне Коли: он – ангел, а я – буян.

Сквозь сон, сквозь самый смутный здоровый сон я помню: особым, «сказочным», низким голосом няня приговаривает, словно в колокол ударяет:

Дилин-дон! Дилин-дон!
Загорелся кошкин дом!

Коля, должно быть, прерывает ее жалостливым вопросом.

Он, видно, боится, чтоб она не сгорела в своем доме. Няня ничего ему не отвечает, делает страшные глаза (они всего мне памятнее), будто глаза испуганной пожаром, поднятой со сна кошки, и нарочито грубым, но веселым голосом утешает Колю:

– Кошка выскочила,
Глаза выпучила...

Коля, должно быть, облегченно вздыхал: он был сама доброта, а я... опять помнится хорошо... я заливался веселым смехом: так смешно мне было слышать, как изо рта няни выскакивали с треском и шумом слова «кошка ввы-скачила, глаза – вввы-пучила!»

Я хохотал превесело и, каюсь, ни на минуту ничуть не опасался за участь кошки, как Коля.

Я тут опять был буян, а он – ангел.

Когда мне было полтора года, ангел этот отлетел от нас: его задушил дифтерит.

Я, толстый бутуз, заболел этой страшной тогда болезнью (ее вовсе не умели лечить) и заразил Колю. /.../ Весь дом плакал по Коле. А я выздоровел, но, должно быть, для того, чтобы не быть даже без вины виноват перед ним, я вскоре заболел вновь, и не менее опасной болезнью – скарлатиной.

Удивительное дело: как я мог выжить – такой маленький и ослабевший после дифтерита, – но я выздоровел.

И Колина няня стала моей няней.

Но я уже не был тем бутузом, каким был до болезни. Я из бутуза превратился в худенького ребенка, и худоба переходила со мной неразлучно из младенчества в отрочество, из отрочества – в юность, и только годам к тридцати я стал полнеть.

Мое «младенческое» буйство бытия недолго сохранилось. /.../

Перестав быть краснощеким бутузом, я стал тихий мальчик... Куда девался мой первобытный «бакунизм»! Я теперь ничего не ломал и не разрушал. Оловянные солдаты, ружье, пушки – все это было не для меня; я терпеть не мог военных игрушек; в войну, в охоту, в диких я никогда не играл. /.../ Я никогда не был ни охотником, ни рыболовом. Мои игрушки были кубики (я мечтал быть архитектором), краски (я не прочь был стать и художником, и декоратором) и очень рано – книги. /.../

Няня записала в свое поминанье «блаженного младенца Николая» и перенесла всю свою любовь на меня, а потом и, вместе со мною, и на моего меньшего брата.

Любовь это была особая, совсем иная, чем любили меня бабушка, мама, папа, кормилица, но сильная, не знавшая никаких колебаний, верная до гроба и, хочется верить, не прекратившаяся и за гробом.

Любовь была иная, потому что и няня была человек особой, иной, на полную свою, ни от кого не заимствованную стать.

Когда няня Пелагея Сергеевна Мурашова поступила к нам, она вовсе не была тою седою старушкою, в темном платье или в шушуне, какою стародавняя няня обычно рисуется в нашем воображении с легкой руки Пушкина: с знаменитой Ариной Родионовной у нашей няни было только то общее, что она была няня, беззаветно любила своих «выходков» (забытое ныне слово из никем не собранного словаря нянь), да поминутно мелькали спицы в ее поморщенных руках.

Няне Пелагее Сергеевне было лет пятьдесят с небольшим, а может быть, и того не было, когда она вступила в наш дом. Степенность, чинность, важность – это никогда не было ее свойствами. Бодрость, живость, сметливость были ее прямыми качествами. Это был человек без «оха» и «вздоха», хотя в ее жизни не занимать стать было материалу для «охов» и «вздохов».

К пожилым годам люди приучиваются ворчать, наша няня, наоборот, к старости стала еще охочей на шутку, еще податливей на меткое живое слово, свое и чужое. У нее сердце всегда оставалось молодым. Обыкновенно старых нянь величали по отчеству: «Захаровна», «Филипповна». Няню нашу так не звал никто – так это не шло к ней. Прислуга ее звала по имени-отчеству: «Пелагея Сергеевна» либо «нянюшка»; мы, ее выходки, всегда звали ее «няня Поля», и так, по нашему примеру, звали ее старшие или попросту: «няня».

Длинная кофта, чепец, повойник, темный платок на голове – это все было не про нее. Ничего «старушечьего» не было в ее одежде, но и ничего молодящегося. Когда ее уговорили сняться в фотографии, она надела черное шерстяное платье с «баской», отделанной черным же стеклярусным аграмантом и черными кружевцами, с юбкой чуточку «по тогдашней моде»: с широкими пропусками. Это была одежда пожилых женщин из хорошей купеческой семьи не слишком старого завета. Платком няня покрывалась, только когда выходила со двора. Дома же она ходила без всяких повойников, платков и косынок, с гладко зачесанными волосами, с прямым пробором, как чесались опять-таки пожилые женщины из купеческого дома. Одним словом, ничего нарочито «нянина» в ее одежде и во всем ее облике не было.

У няни было приятное лицо с хорошим лбом русской разумницы, природной москвички; природный ум – емкий, отзывчивый – светился в ее живых карих глазах. Ей был присущ теплый народный юмор, и он отражался в ее взоре, в ее улыбке, а речь ее, по-московски цветная, бодрая и разымчивая, была преисполнена живыми, острыми вспышками этого юмора. Пословицы, поговорки, прибаутки не сходили с ее языка. Она мастерица была давать прозвища и так, бывало, окрестит кого-нибудь из прислуги, из хозяйских гостей или наших товарищей, что кличка окажется пришитой навсегда к вороту этого человека.

С раннего детства, вслед за няней, привык я поминать на молитве имена ее родителей, но кто были эти «рабы Божии Сергей и Анисия», об упокоении которых я, любя няню, горячо молился, я так и не знаю. Знаю только, что няня по «званию» была московская мещанка.

Никакой связи с деревней у ней не было: родители ее не были крепостными, няня родилась, всю жизнь прожила и умерла в Москве. Она рано осталась сиротой и вместо матери ей была тетушка Елена Демьяновна.

Чудесная старушка эта была вхожа к нам в дом, и все в доме, от отца до прислуги, ее очень любили. За всю жизнь я не встречал другого такого образца прекрасной старости и кроткой старческой красоты. Елена Демьяновна казалась хрупкой и прозрачной, точно из китайского фарфора: тонкие черты лица, легкий матово-нежный румянец по щекам; синеватые глаза, чуть-чуть увлажненные, небольшие ручки в приятной голубой паутинке из жилок. Это ласковое, светлое старческое лицо обрамлял чистенький белый чепец в гофрированной каемке. И от всей Елены Демьяновны – от ее опрятной кофты из синеватой холстинки, от ее белых нарукавничков, от такого же воротничка – веяло неизменной чистотой и тончайшей благопристойностью.

Такова же была она в своем слове и деле. Трудно представить себе человека деликатнее по манерам, обходительнее по нраву, приятнее по обращению. Можно было подумать, что она весь свой век вековала на антресолях дворянского старинного особняка на Сивцевом Вражке, казалось, что вот-вот она заговорит по-французски со старомосковским благородным прононсом – так это шло к этой фарфоровой старушке с ее неисчерпаемой приветливостью, с ее врожденным тактом, этим редким умом сердца.

А между тем, Елена Демьяновна приходила к нам не с антресолей Сивцева Вражка, а из Ремесленной богадельни, что на Самотеке.²¹ Это была самая простая из московских богаделен для престарелых из самого малозначащего из тогдашних сословий; и мещанская, и купеческая богадельни, не говоря уже о дворянском «вдовьем доме», были лучше и тороватее Ремесленного, где и содержание было скуднее, и пища грубее!

Но если послушать Елену Демьяновну, то у них в Ремесленной богадельне было так хорошо, будто во Вдовьем доме, куда заезжала, в бытность в Москве, императрица «пробовать пищу» и ободрять своим вниманием обедневших старушек из захудавших черноземных усадеб и развалившихся пречистенских антресолей. Елена Демьяновна не нахвалится, бывало, что и угол у ней теплый есть, и кусок хлеба мягкий, и тут же есть храм Божий для душевного питания. Одно ее печалило: свары и раздоры старух-соседок по палате: для нее эта старушечья бранная молвь и их ворчливое осиное жужжанье было таким же мученьем, как фальшивящий оркестр для музыканта с абсолютным слухом. Елена Демьяновна стремилась то добрым словом, то добрым куском умиротворить своих неукротимых воительниц.

Ее, повторяю, очень любили в нашем доме и потчевали, как дорогую гостью. (А она, кстати сказать, приходила не просто в гости; была большая труженица из последних сил – вязала чулки и перчатки на нашу семью). /.../

Для нас, детей, было большим удовольствием отправляться с няней в гости к Елене Демьяновне.

Иногда это делалось с ведома и даже по поручению мамы. Она скажет, бывало:

– Что-то Елена Демьяновна давно не была. Няня, ты бы проведала ее.

Мы смотрим на маму в этот момент так умоляюще, что она, без слов поняв нас, доканчивает:

– Возьми Степана (старик-извозчик со смирной лошадкой, стоявшей на углу Плетешков и Елоховской) и поезжай с детьми.

Для Елены Демьяновны собирают сахару, чаю, банки с вареньем, с моченьем, с соленьем, и мы едем на Самотеку.

Ремесленная богадельня – большое кирпичное здание холодно-казарменного вида, в ней широкие коридоры, из коридоров двери ведут в большие «палаты», сплошь уставленные кой-

²¹ «Всегда Самотека связывалась у меня с богадельней Елены Демьяновны: подъемный стол на цепях, запах шей и страшная роспись из Священного писания по стенам». (Прим. Г. Н. Дурылина, младшего брата С. Н. Дурылина).

ками, покрытыми байковыми серыми одеялами; между койками стоят деревянные табуретки и столики. На табуретах сидят старухи – кто в очках, кто без очков, в усах и в бородавках, беззубые и шевелящие губами. В углу – большой образ с горящей лампадой. В палате полы деревянные, некрашенные, застланные домоткаными дорожками. Тесно, бедно, скученно, но зато пахнет надежным теплым и горячим ржаным хлебом.

Среди этих грубоватых старух, затаивших при нашем приходе ворчанье и с любопытством разглядывавших нас, наша милая Елена Демьяновна казалась нам чуть не гостьей, зашедшей сюда случайно и ненадолго.

Но она не гостыя здесь, а радушнейшая хозяйка. Она не знает, чем нас накормить. Всяк у нее помаленьку и все маленькое, маленькое: голубая фарфоровая чашечка тоже для игрушечной принцессы, такой же граненый стаканчик, крохотная баночка с вареньем, два-три мятных пряничка, сахарок, тщательно нащипанный маленькими белыми осколочками.

Но не только чай, а и самые чаинки вкусны у Елены Демьяновны.

Но мы ждем главного угощения.

Это черный хлеб. Богадельня им славится на всю Москву: крутой и вместе мягкий, сладкий, как пряник, но не приторно-сладкий, с поджаристой коркой, он был необыкновенно вкусен. Съесть ломоть такого хлеба, посыпанный крупной солью, и запить его таким же добрым квасом было большим наслаждением.

За последние 25 лет сколько бы я дал за такое наслаждение! Но во всей Москве не было уже ни за какие деньги добыть такого черного хлеба. /.../

Няня вела деловые беседы с тетушкой, и было заметно, что Елена Демьяновна не всем довольна в рассказе няни об ее житье-бытье. У няни был горячий характер, она бывала иной раз резка на язык, «скороответлива», а Елена Демьяновна учила ее быть терпеливой, спокойной, сдержанной!

Привезенным нами угощением – мармеладом, пастилой, черносливом – она непременно тут же, при нас, потчевала своих соседок. А нам, на дорогу, в гостинец давалось два-три ломтя черного хлеба, и мы его везли домой, как драгоценность, поделиться с папой и мамой. /.../

Когда у Елены Демьяновны было больше сил, она на лето переселялась к нам «домовничать»: семья наша переезжала на дачу, а она оставалась править домом. Случалось, в доме живали еще братья, у которых шли еще экзамены, в доме оставались приказчики – и все были довольны заботами и попечениями хозяйственной Елены Демьяновны. Вся эта мужская молодежь жила со старушкой в полном мире и не подводила ее никакими особыми шалостями и проказами, так что и отец был доволен «домовничеством» Елены Демьяновны. Она и минуты не сидела без дела: производила с помощью «черной кухарки» Арины и дворника грандиозное перетряхание ковров, «выбивание» пыли из мягкой мебели, следила за малярами, производившими ремонт в доме, варила варенье из смородины и крыжовника, поспевавших в саду, сушила яблочки, аккуратно нарезавая их круглыми дольками и нанизывая на прочные суровые нитки.

Старушка была, при всей своей тихости, таким деятельным человеком, будто и всю жизнь вела большой купеческий дом.

Когда она умерла, все о ней пожалели, и не раз слышалось то от отца, то от мамы: «Будь в живых покойница Елена Демьяновна, и заботы бы – такой-то и сякой-то – не было бы».

Няня любила и уважала свою тетушку и, как мне иногда казалось, кое в чем побаивалась ее, – побаивалась, впрочем, без всякой боязни: дело было не в страхе, а в том, что трудно было няне жить на свете так тихо, ласково, примерно и уважительно, как прожила свой век Елена Демьяновна, родившаяся еще при Александре Благословенном. И едва ли няня считала себя виновной, что не могла так жить, как тетушка ее, с ее покоряющим миром и светом.

Но иной раз, – как сквозь полусон помню, – хоть редко, но няня и полудосадовала на тетушку: уж слишком добра была ее доброта, как будто ни зла, ни злых не было в мире.

А няня чуяла это зло, видела эти злых и умела сильно негодовать и горячо, по-своему, восставать против злобы злобствующих и против обиды обижающих.

Она, например, нисколько не верила в иллюзии отца относительно того, что там, в нижнем этаже дома, у него растет жизненный резерв для его старости, и вся была на стороне мамы, также мало верившей в этот резерв. Няня отзвистно жалела отца и заранее горевала об ожидавшей его участи.²² /.../

Отец уважал нянину преданность, сметливость, разумность и поручал ей дела, далеко отстоявшие от ее прямых обязанностей. Когда дочерей выдавали замуж, ей поручалось отвезти приданое в дом новобрачных. Поручение это было почетное и требовало особых дипломатических способностей. Нужно, чтоб все было по чину, по давнему обычаю. Нужно было проявить и должную почтительность к «сватье» – матери жениха, – принимающей сундуки, но нужно было, чтобы эта почтительность не превзошла меры и не была бы в ущерб невесте и в умаление честному купеческому дому, откуда ее берут. Надо было уметь войти в новый дом с хлебом-солью, истово помолиться на образ, по-почетному (но в меру) поклониться новой родне, спросить о здоровье; необходимо было толком, без лишнего, но и без недостающего слова, передать все, что поручено сказать родителям невесты, – так, чтоб никаких неразберих не вышло впоследствии. Принять приданое – дело большое: коль принято приданое – навек о нем уже не может быть разговору. На приветливое слово надо было уметь ответить словом приветливым же, а самой тут же приметить, в полной ли силе можно верить этому привету новой родни? Нужно было уметь принять угощение с признательностью, но так, чтоб было ясно угощающим, что угощение не в невидаль и не в диковинку. Надо было уметь в меру посидеть в чужом доме и в самую пору – ни рано, ни поздно – откланяться.

На все это требовалось большое дипломатическое мастерство, и няня им обладала в полной степени. Выпадали на ее долю житейские задачи и потрудней – и она их превосходно решала.

Но, конечно, главная ее сила, ее, не обинуясь скажу, жизненный талант сказывался в детской.

Не могу себе представить лучшего хранителя детства, чем была наша няня, и не верю, чтоб теперь кому-нибудь выпадало такое счастье: жить под теплым попечением такого хранителя.

Детская. Восьмой час вечера.

Я сижу в ванне, поставленной на стульях, у жарко натопленной изразцовой лежанки. Так приятно лежать в теплой воде: вода словно ласкает все тело, а няня, засучив рукава, в фартуке, так проворно и нежно перебирает мои волосы, касается рук и ног. И мыло было у няни особенное, не купленное: это разноцветный шар. В доме сколько угодно мыла; откуда-то выписывают казанское яичное мыло в «печатках», обрамленных лубком. Няня сама моется таким мылом, но для нашего мытья она почему-то собирает со всего дома обмылки туалетного мыла и, тщательно их обмыв, скатывает из них пестрый шар. Им можно играть, как мячиком, сшитым из цветных лоскутков.

До самого последнего времени я не знал, зачем няня собирала эти куски из всех мыльниц и мыла нас этим пестрым шаром. Оказывается, есть поверье, что если помыться мылом, собранным ото всех, от кого только можно, то смоешь с себя зараз все недуги и болезни, тайные и явные. Вот няня и смывала с нас этим мыльным колобком всю хворь и всю болезнь, причем никогда никому не объясняла, на что ей нужен этот забавный шар из мыла.

²² Старшие сыновья, которым отец передал свое купеческое дело, разорили его и ушли, оставив умирать в бедности, а вдову с Сереей и Георгием – влачить бедственное существование.

Но вот мытье мое кончено. Няня ставит меня на ноги в ванне. И высоко надо мною протягивает медный кувшин с теплой водой. Она медленно льет на меня воду, смывая левой рукой мыльную пену и весело приговаривая:

Лей, кубышка,
Поливай, кубышка,
Не желей, кубышка,
Царского добришка!

Она не жалеет «добришка» – и я счастливо жмурюсь под теплым потоком.

Я – худенький мальчик, и няня, и мама усиленно потчуют меня за обедом то тем, то другим; «это полезно», уговаривает при этом меня няня: «Кушай, Сережа, непременно доешь кусочек, а то на ночь приснится татарин».

Это – угроза.

Теперь я понимаю, что это, должно быть, остаток очень древней угрозы, которой мамушки и нянюшки пугали русских детей: «Приснится татарин, злой косоглазый ордынец, забирающий в полон и детей, и взрослых».

Я татарина не очень боюсь, но все-таки ем «полезительную» куриную котлетку с пузатеньким огурчиком.

Но, несмотря на полезительные котлеты, артистически приготовляемые поварихой Марьей Петровной, несмотря на французское лечебное вино Сан-Рафаэль, которым предписано подкреплять мои силы, я очень худ. И няню заботит и огорчает моя судьба. Она вновь наполняет кувшин водою – и с неожиданной быстротой окачивает меня с маковки до пят, с крепким наказом:

– Как с гуся вода, так с тебя худоба!

Няня ставит меня на лежанку, где постлан войлочек, а на нем – простыня, и обтирает меня нагретой простынькой, всего обернув в нее. Мне хорошо, мне так хорошо!

А няня целует меня – в ямку под горлышком, в «душку», по-нянинному: так, она верит, ближе всего можно добраться до души человеческой, охраняемой ангелом-хранителем.

Затем она надевает на меня длинную рубашку и уносит в комнатнушку на мою кровать, укутывая одеяльцем – чудесным, теплым, мягким, не купленным одеяльцем: его связала для меня бабушка Надежда Николаевна, моя крестная.

Я лежу, спокойный, счастливый, согретый изнутри и снаружи. Сон с Дремою уже караулят меня. Но я стараюсь не отвечать на их ласковый зазыв: я еще жду маму и няню. Мама придет меня перекрестить на сон грядущий, а с няней я буду читать молитвы.

Няня прибирает все в детской, уносит ванну, подтирает пол и идет к маме сказать: «Сережа выкупался». Мама занята чем-то по хозяйству и, ответив: «Сейчас приду», – не идет.

Я лежу, жду. В комнатке тихий сумрак. В углу, над няниной постелью, горит лампадка перед образом «Семи спящих отроков». Огонек мутно и загадочно двоится, троится, четверится на густые рубины толстого граненого стекла лампы.

Я не свожу глаз с иконы. На ней лежит темный покров старины, но я знаю, я люблю чудесных отроков, изображенных на ней. Лежа, я вспоминаю их таинственную повесть.

Их было семеро. Они были любимцами царя и ходили в золотых одеждах. Но они поклонялись истинному Богу, Господу Христу, а царь был нечестивец: он кланялся идолам. Отроки сходились тайно в пещеру и там горячо и дружно молились Христу. Однажды царь потребовал от них, чтобы они на следующее утро принесли жертву идолу. Семь отроков удалились в пещеру, горячо там молились Богу, чтоб он послал им силу исповедать Христа пред нечестивым царем, молились с теплыми слезами и под утро, утомившись, заснули – заснули крепким, непробудным сном.

Наутро нечестивый царь хватился отроков и, узнав, что их нет во дворце, вспылал гневом. Он приказал воинам разыскать их во что бы то ни стало. Долго их искали слуги царицы и, наконец, донесли царю, что отроков нашли спящими в пещере, но, сколько ни будили, не могли пробудить их от крепкого сна.

Царь сказал: «Они решили послушаться моего приказания принести жертву великим богам, они спят в пещере, так пускай же они спят там вечно!»

И он приказал завалить вход в пещеру тяжелыми камнями.

Прошло три века.

Владелец того места, где была заваленная пещера, решил приспособить ее под загон для овец и велел пастухам отвалить камень от входа.

В пещеру проник свет – и семеро отроков проснулись. Они почувствовали голод. Старший из них, Ямвлих, решил пойти в город купить хлеба, чтобы подкрепиться, и затем идти к царю исповедовать пред идолом правую веру.

Но когда старший отрок подошел к воротам города, он увидел на них крест. Из-за стен города сияли многие кресты храмов, и доносился звон. Ямвлих не верил глазам. У первого встречного спросил, тот ли это город, в который он шел?

– Да, тот самый.

Изумленный отрок подошел к ближайшему продавцу и спросил хлеба. Но когда он подал продавцу монету, хлебник спросил:

– Где взял ты эту монету?

– Почему ты спрашиваешь меня об этом? – удивился отрок. – Разве это не настоящая монета? Такие монеты у всех на руках.

– Нет, – отвечал торговец, – эта монета древнего царя, который царствовал три века назад.

– Но уверяю тебя, – отвечал отрок, – что я лишь вчера получил эту монету.

– Ты лгун и обманщик, – вскричал торговец. – Эта монета так стара, что ни у кого нет теперь на руках таких монет. Ты, верно, нашел клад, и хочешь утаить его.

Продавец же свел его к начальнику города. Отрок, ничего не тая, признался, что он с друзьями своими вчера ушел отдохнуть в пещеру, а сегодня должен предстать царю. Но, когда отрок назвал имя царя, начальник города сказал:

– Ты обманываешь нас. Ты называешь царя, который поклонялся идолам и умер давным-давно, а теперь царствует благочестивый царь христианский.

– Ведите меня к нему, – сказал отрок.

Думая, что отрок желает открыть царю клад, градской начальник провел его к царю. Царь же, услышав рассказ отрока, поверил ему и повелел Ямвлиху вести всех к пещере. Когда царь и его приближенные, духовные и мирские, пришли к пещере, они увидели шесть отроков в древних одеждах, блистающих несказанной красотой и славящих Бога сладостными хвалениями.

Тут-то один из древних старцев, пришедших с царем, вспомнил, что, по рассказам его прапрадеда, в наидревнейшие времена нечестивый царь повелел привалить камень к пещере, в которую удалились его отроки, не желавшие служить идольским богам.

Царь со всеми пришедшими прославил Бога, пославшего отрокам дивный сон и чудесно пробудившего их после трехсотлетнего усновения.

– Так будет и воскресение мертвых! – воскликнул царь. – Как эти дивные отроки, плотию уснув, восстали от смертного сна, так и мы, по многих веках, воскреснем в сретение Христа Грядущего.

И весь народ, глядя на прекрасных отроков, радовался великому грядущему воскресению.

А отроки между тем вместе с пришедшим другом своим Ямвлихом, склонившись друг к другу, вновь опочили крепким сном до пресветлой трубы Архангельской.

Почти до тридцатилетнего возраста у меня не было случая прочесть в «Четьях-Минеях» эту чудесную и трогательную повесть, в истину которой в течение веков верил и верит не только христианский, но и мусульманский мир,²³ но я знал ее с ранних лет моей жизни. Откуда? От папы, от мамы, от няни, от тетушки Лизаветы Зиновьевны. Но, главное, я знал ее от самого изографа, написавшего в XVII столетии на липовой доске живыми красками эту возвышенную повесть: там, не умея читать, я прочел и о том, как отроки отходят ко сну в темной пещере, готовясь завтра принять страдание за Христа, и о том, как прекрасный Ямвлих идет за хлебом, и о том, как предстает он пред торговцем хлебом, и о том, наконец, как царь преклоняет колени пред отроками в пещере, а они вновь отходят к смертному сну.

Вся повесть была рассказана старинным изографом с трогательной искренностью и мудрой простотой. Я нигде и ни у кого за всю жизнь мою не видал другой такой иконы. В немногих стенописях и на немногих иконах встречал я лишь изображение отроков в пещере, но всю повесть, в последовательном раскрытии, не встречал нигде.

Икона «Семи отроков» почиталась в нашем доме чудотворной: «Семи отрокам» молились от бессонницы. Так молился им отец, ища у них защиты от тяжелых дум, отгонявших от него сон, так приходила молиться им тетушка Лизавета Зиновьевна, крестившаяся по-старобрядчески, двуперстием. Так молился им однажды даже братец Александр Николаевич, редко кому-нибудь молившийся, когда его, лежавшего в тифе, одолела бессонница, а врачи предписывали ему сон и покой. В головах его постели, по совету той же тетушки, поставили «Семь спящих отроков» с зажженной лампадой – и мирный сон низошел на его буйную голову. /.../

Я лежу в своей постельке, ожидая маму и няню, и смотрю на «Семь отроков». Тихо и таинственно у меня на душе. Я еще не знаю всей их повести так подробно, как записал здесь /.../

Я люблю тихих и мудрых отроков, связанных неразрывной дружбою в жизни, в смерти, по смерти и опять в жизни.

Приходит мама. Она поздравляет меня, шутя, как большие – больших: «С легким паром!» – и крестит на сон грядущий. Мне хотелось бы, чтоб она посидела со мною, но ей некогда, она озабочена обедом: кто-то важный должен приехать из города с папашей, какой-то гость, и надо приготовить закуску и лишнее блюдо к столу.

Я остаюсь с няней. Младший брат давно уже спит в своей постельке. Его купали раньше меня, и он уже раскинулся, сбрасывая с себя одеяло, в веселом беззаботном сне.

А я становлюсь на колени в своей кровати и читаю вслух «Богородицу». Няня беззвучно шепчет молитву вместе со мною и, когда я готов остановиться, затрудняясь в том или ином слове, она усиливает свой шепот до ясных слов:

– Благословенна ты в женах!..

Я повторяю за нею, и мне кажется: добрый и тихий отрок Ямвлих остановился на пути к хлебопеку, смотрит на меня приветливо в золотом своем венчике и повторяет вместе со мною и няней благодатной Марии:

– Благословенна ты в женах!..

Я шепчу дальше:

– И благословен плод чрева Твоего.

²³ Повесть о семи спящих отроках внесена в «Коран» (гл. XVIII «Пещера». С. 8–25) и известна в переводах арабских писателей XII–XIII веков. Особенно близок к передаваемому мною изустному сказу о Семи спящих отроках обширный свод сказаний, над которыми трудился багдадский перс Табарий (838–923); свод этот находится в его толкованиях на Коран «Джали аль-байан» (см. труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков. Вып. 41-й, Семь спящих отроков эфесских); а) Крымский А. Е. Общий историко-литературный очерк сказания, б) Агтая М. О. и Крымский А. Е. Переводы арабских версий VII–XIII вв. М., 1914. С. 8–24). Из русских поэтов декабрист В. К. Кюхельбекер написал поэму «Семь спящих отроков». (Прим. С. Н. Дурылина).

Я не понимаю еще этих слов – и няня не объясняет мне их, но я знаю, что это – Христос, тот Пресветлый Христос, который с высоты кудрявого облака благословляет на иконе семь отроков, я знаю, что это тот благостный Спаситель, который, пожалев прекрасных отроков, сохранил их от гонителя в темной пещере.

И я молюсь Христу и прошу его, чтоб Он также сохранил и меня самого, «младенца Сергия», как подсказывает мне няня, и моего маленького брата, и папу, и маму, и бабушку, и няню, и старших братьев, и сестер, и всех, кого я люблю. А любил тогда я всех и не знал, что значит не любить.

«Богородица» прочитана.

Прочитан и «Отче наш» – с большой помощью няни, причем, когда я произносил: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», – я думал о черном ржаном хлебе, которого так много надо всем: нам, к столу и на кухню, в богадельню к Елене Демьяновне, в деревню, к моей молочной сестре Шуре, к Егору (наш дворник) и к Марье Петровне с Ариной (наши кухарки), – надо много, много хлеба для всех, и я рад, что у Бога на всех его хватит.

Те молитвы, что есть в молитвенниках, прочитаны. Но есть еще одна молитва: ее нет ни в одном молитвослове, но я знаю ее тверже всех.

Этой молитве научила меня няня.²⁴ Ее простое, любящее, горячее сердце сложило ее, трепеща за нас, детей, за нашу жизнь, счастье, здоровье.

Сейчас я отойду ко сну, останусь один с Ангелом-хранителем – так верю я, так научила меня верить няня. И я молюсь этому Неотступному спутнику моей жизни:

Ангел мой хранитель!
Сохрани меня и помилуй.
Дай мне сна и покою
И укрепи мои силы.

Эти слова сложила сама няня, и я произношу их с полной верой, что Ангел меня слышит и исполнит все по просьбе моей.

Теперь, больше чем через полвека, я вдумываюсь, вслушиваюсь в эти никогда не потухавшие в душе моей слова и в них слышу голос няни, сливавшийся неразрывно с нашими младенческими голосами. В няниной молитве нет ни единого церковнославянского слова, ничего в ней нет от книги, от «Писания», это простой, непосредственный выдох души. Это – истая молитва няни, болезнующей и радеющей о своих выходках: их детскими устами она просит у Ангела-хранителя всего, что нужно ребенку для жизни: сна, покою, растущих сил – всего, о чем сама она заботится день и ночь; и вот, не доверяя своим заботам, своему попечению, берет няня себе в могучие помощники «Ангела Мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших».

Когда няня слагала для нас свою короткую молитву, она, верно, и не думала об этом прощении и просительной ектении, а вот сказалось ее, нянино, прошение, вложенное ею в уста детей, совпало с этим прошением «Ангела Мирна», возносимом церковью за вечерним богослужением.

Что же тут мудреного! У русской няни старого времени было чистое, любящее сердце – *православное* сердце.

И что же опять-таки мудреного в том, что я засыпал после такой молитвы с няней не под белым пологом кровати, а под белыми крыльями Ангела-хранителя?

Я не помню никаких ее особых наставлений нам, никаких ни моральных, ни религиозных поучений, не помню и наказаний. Не может быть, чтоб их не было совсем, вероятно, они

²⁴ Этот текст частично повторяет текст из главы «Воспоминания», но мы решили не сокращать его здесь.

были: «стань в угол» и легонький шлепок по «барыне» (так у няни звалось известное место, которым особенно прославился князь Дундук²⁵), но все эти «кары» были так, очевидно, редки, так малозначащи, что не оставили никакого горького осадка в душе, и оттого вовсе не запомнились. А таких крутых мер, как «без обеда» или «без сладкого», ни в няниной педагогике, ни в маминой педагогике, от которой зависела нянина, не было вовсе.

Укорительным словом няни было «бесстыдник!» или в другой форме: видит, бывало, что-нибудь неподобающее в нашем поведении и скажет, сокрушительно качая головой: «И! стыды – стыды!» Ежели игрушки не прибраны или порядку нет на столе, то няня, недовольно хмурясь, кидает:

– Хаосник!

Это сильнейшее ее укорительное слово; меньшая его степень – «зрячий», человек, поступающий «зря», без толку, без смыслу – без разуму.

– Хаосник!

Откуда у нее взялось такое слово? Ни о хаосе, ни о космосе она понятия не имела. Но слово употребляла в верном смысле – человека, приводящего все в состояние хаоса – в неустройство, беспорядок, безразличное состояние, как толкует это слово Даль.

Впрочем, кончалось все обычно тем, что няня сама прибирала игрушки, превращая «хаос» детской в «космос».

От няни слово «хаосник» вошло в обиход мамы и еще слышалось в нашей семье даже тогда, когда один из «хаосников» уже знал по-гречески и слушал лекции по греческой палеографии.

Няня умела разгадать причины, вызывавшие «хаоса бытность» (слова Державина)²⁶ в нашей детской. Она примечала, что надоедали нам те или иные игрушки: слишком часто участвовали в боях brave солдаты моего брата, слишком зачастили спектакли в моем игрушечном театре, и немудрено, что солдаты переставали получать от брата достаточный паек внимания и заводили непохвальное знакомство с коробом домашнего фокусника, а мои декорации из «Конька-Горбунка» оказывались заброшены в кучу строительных материалов для постройки ветряной мельницы. Няня решительными мерами прекращала «бытность» этого игрушечного «хаоса»: она отправляла надоевшие игрушки в изгнание на чердак, в особый чулан, где ничего «хозяйственного» не было.

Там изгнанные игрушки пребывали до той поры, когда в детской наступала «хандра» (это опять было нянино слово). Все становилось не по душе: и игрушки, и книжки. Мы слонялись из угла в угол, надоедали всем в доме, приставали с неисполнимыми просьбами, вызывали на себя недовольные окрики сестер, огорчали маму. Тогда няня, будто пришла ей крайняя нужда, вслух, но сама с собою, недоумевала: «Куда это я ключ от чердака забельшила?» Мы прислушивались к мнимым поискам ключа и спрашивали: «Няня, ты пойдешь на чердак? В чулан?» – «Придется пойти. Вы посидите смирно. Я скоро вернусь». Тут мы заявляли неотступные просьбы взять нас с собою в чулан. «Что вам там делать? Только запылите!» Но мы прилипали к ней, как пиявки, и поднимались, в конце концов, на чердак, в заветный чулан. Там няня перебирала какие-то «мухры», по ее выражению: старые коврики, пряжу, а мы занимались извлечением старых игрушек из изгнания. Мы делали удивительные раскопки и открытия. Давно получившие от брата чистую отставку «генералы» вновь призывались на действительную службу; я решал возобновить «Конька-Горбунка» и разыскивал картонного Иванушку-дурачка, Кита и Царь-девицу; извлекались какие-то забытые дудочки и губные гармоники – чердак наполнялся веселым писком и свистом, – и мы, счастливые, с корзинами,

²⁵ С. Н. Дурылин имеет в виду эпигramму А. С. Пушкина на князя М. А. Дундукова-Корсакова.

²⁶ Цитата из оды Г. Р. Державина «Бог» (1784): Хабса бытность довременну Из бездн Ты вечности воззвал... (прим. А. Б. Галкина).

наполненными игрушками, спускались вниз, и на несколько дней в детской водворялась оживленная суэта, какая бывает во время праздников, когда игрушки сыпятся точно из рога изобилия и не хватает времени познакомиться с ними вдоволь и наиграться в них вдоволь. «Хандра» проходила бесследно.

Иной раз наступала другая маленькая беда: на нас, по уверению няни, нападал «Едун». Без поры без времени мы приставали к ней: «Няня! Дай огурчика с хлебом!» или: «Няня! Хочу моченого яблока».

Эти требования разрушали весь распорядок дня, назначенный для нас матерью, и няня сперва отмалчивалась, будто и не слышит про огурчик и про яблоко. Иногда «едун», не получив ответа, исчезал от нас куда-то. Но большею частью он был приставуч: «Няня, принеси огурчика...» Няня сообщала нам в ответ: «Глаза у вас не сыты». При повторных просьбах она, наконец, махала рукой: «Едун поедучий напал», – ничего, мол, с ним не поделаешь, и молча отправлялась за огурчиком или яблоком.

Также на нас нападал «Каприз» или мы начинали праздновать «Лентяю преподобному» – и это неприятное нападение прогонялось, а непохвальное празднование прекращалось так же умело и действенно, без особых карательных мер, как и проявление «хаоса» и нападения «едуна».

Нянина педагогика²⁷ не охоча была ни на карательные меры, ни на претительные запреты. А между тем объем воздействий этой педагогики был куда обширнее, а ответственность за питомцев была куда больше, чем у обычных педагогов!

Няня, например, верила в дурной глаз и в производимый им «сглаз» и считала долгом охранять нас от него.

Бывало, мама войдет в детскую и скажет:

– Приехала Анна Ивановна. Надо привести детей поздороваться.

А няня ответит на это:

– К чему это детей водить к ней? У ней глаз нехорош, – и не поведет ни за что на свете.

Еще хуже, если мама без предупреждения войдет в детскую с такой гостьей «с нехорошим глазом». Няня холодно, только чтоб не нарушать приличия, поклонится такой гостье и постарается прикрыть пологом кроватку: дети, мол, спят.

А наутро, для верности, sprysнет меня или брата с уголька.

Но к тем, у кого, по мнению няни, глаз был хорош (и обычно это бывали люди, действительно, добрые, искренно расположенные к маме), няня с охотой сама приведет нас поздороваться в гостиную, предварительно принарядив и расчесав волосы.

Иной раз она делала это не без наивной и никогда не оправдывавшейся добронамеренной корысти:

– Иди, – однажды напутствовала она меня, маленького, направляя в гостиную, где сидел важный родственник одного из зятьев, богатый одинокий холостяк, – а вдруг он тебе брильянт подарит.

А у него, действительно, алмазы играли в перстне, в запонках и в булавке, воткнутой в галстук.

Разумеется, надежда няни была совершенно тщетна, и этот важный Павел Иванович, у которого плавали свои суда и баржи на Ладожских каналах, только погладил меня по голове рукой со сверкающим алмазом, но няня, посылая меня, против моего желания, к чужому господину с черной повязкой на одном глазу, пеклась по-своему о моем благополучии: у нее сжималось сердце при мысли, что отец наш стар, и мы останемся сиротами без обеспеченного куска хлеба.

²⁷ Никто, кроме милого Г. С. Виноградова в дальнем Иркутске, не занимался педагогикой русской няни, а сколько мастеров ее оставили след в русской жизни и в литературе, начиная от знаменитой Арины Родионовны. (Прим. С. Н. Дурылина).

Иногда она начинала гадать: «А вдруг бабушка Ольга Васильевна (свекровь мамы по первому мужу) выиграет сто тысяч и подарит вам по тысяче». Ольга Васильевна выигрывала и 75000, и 100000, но нам ничего не дарила. Единственные ее подарки были екатерининские червонцы, «крестовики» – «на зубок», на первый прорезавшийся зуб у новорожденного.

Няня мечтала и сама купить билет внутреннего займа и выиграть на него десять тысяч. Она заранее распределяла, сколько даст Елене Демьяновне, сколько – племяннику Володе, а главное, сколько положит в банк на нас: «Подрастете, а у вас и будут деньги».

Что-то не помнится, чтоб ей удалось купить выигрышный билет, а у кухарки Марьи Петровны такой билет был.

Впредь до выигрыша няня заблаговременно распределила между нами все свое имущество. Икону «Явление Богоматери преподобному Сергию» – мне (она и перешла ко мне как ее благословение); сережки из ушей с тремя маленькими гранатиками (винисами) – мне и брату, каждому для булавки в галстук; маленький никелированный самоварчик – нам обоим. Это и было все ее имущество. Как себя помню, я знал уже, что нянино наследство «отказано» нам.

Нам же она старалась навязать как можно больше чулок и варежек. Она вязала их непрерывно, неустанно и так прочно и мастерски, что лучших я не нашивал и не выдывал.

– А ну, – скажет, – сожми кулачок.

Отрываясь от игрушек или от книги, сжимаю кулак и протягиваю его няне. Она применяет на кулачок связанную ступню чулка и замечает:

– В самый раз!

Она знает, как художник-анатом, соотношения между длиною ступни и кистью руки, – и не было ошибки: ступня чулка, смиренная по кулачку, а не по ноге (чтобы не отвлекать выходка от игры или от книги), была в самый раз. /.../

На руке няня носила: на одной – красную шерстяную нитку в виде браслетки, на другой – шерстяную «паголенку», голенище чулка, плотно прилежавшее к руке. Это были «симпатические средства», предохранявшие от простуды и ревматизма, что не мешало няне быть плохого здоровья.

В крещенский сочельник няня старательно ограждала меловыми крестами все двери в детскую и все притолоки. Она всячески стремилась оградить нас от всякого, даже случайного, «ненарочного» общения с нечистой силою.

Бывало, начнешь, сидя на стуле, болтать ногами. Няня строго заметит:

– Качай, качай нечистого-то!

На недоуменное и опасливое оправдание:

– Я не качаю. Я, няня, так, – она непременно ответит:

– Как же «так»? Кто ногами болтает, у того на ногах, как на качелях, шишига качается.

Скверная должность – быть качелями для шишиги, и тотчас подожмешь ноги под стул.

Или, проходя по детской, приметит няня, что пробка не воткнута в графин с водою, или не покрыта кружка с клюквенным соком, или открыта крышка у рукомойника, и тотчас же недовольно спросит:

– Кто воду пил, да графин оставил без пробки? Кто в рукомойник воду лил, да не закрыл?

И мы знали, почему этого нельзя делать. Няня давно нам рассказала, что был такой святой, который не закрыл на ночь рукомойник, а туда ночью ввалился шишига и всю воду опоганил; хорошо еще, святой догадался, закрестил его там и крышкою прикрыл, а то быть бы беде: опоганенным умыться или опоганенное выпить – значит, накликаешь на себя болезнь, порчу. А коли закрестишь «шишигу» в покрытом сосуде, тогда делай с ним что хочешь: святой под тем условием только и выпустил шишигу из рукомойника, что велел ему превратиться в коняшку и съездил на нем в старый Иерусалим.

Впоследствии я узнал, что няня передавала нам эпизод из древнего (и не принятого в таком виде церковью) жития архиепископа Иоанна Новгородского.

Во время обеда няня зорко наблюдала за тем, чтоб не рассыпали соль (это к несчастью), но и за тем, чтоб кто-нибудь из нас не вздумал щепотью взять соль из солоницы. Если случится такой грех или, еще хуже, если невзначай обмакнешь кусок хлеба в солоницу, няня укоризненно скажет:

– Это ты что же, милый, Иуду вспомнил?

На решительный отказ от желания помнить злого предателя няня возразит:

– А как же? Это Иуда обмакнул хлеб в солоницу. И покачает с укором головой.

Очень хорошо знали мы также, что, сидя, не следует класть нога на ногу: так сам Сатана сидит на троне в аду, а на коленке у него – тот же Иуда-предатель с кошелем с 30-тью серебряниками.

И это Иудино сиденье – на коленке у князя бесовского, как впоследствии оказалось, няня не выдумала: так пишется сей темный князь, ласкающий предателя, на древних иконах Страшного Суда.

Няня достигала своего: болтать ногами, сидеть, заложив нога на ногу, тыкать куском хлеба в солонку – всего этого мы боялись, как греха, и это с детства усвоенное воздержание обратилось впоследствии в добрые навыки житейского обихода.

«Ангел-хранитель заплачет» и «отойдет от тебя» – этого я боялся, как огня, а это сулила мне няня за леность, непослушание, недобрый поступок или слово.

«Ангел-хранитель заплачет» – было горько и страшно слышать: как увидеть, как услышать про слезы Ангела, кои я причиняю.

– А Анчутка засмеется.

Этим тоже страшила няня.

– А какой он? – спрашивал я няню.

– Беспятый, – отвечала она.

Почему-то это было и страшно: ноги есть у него, пяток нет, и смешно, ужасно смешно: беспятый! Я добивался подробностей о нем, но их не было. Это не был черт; это было что-то чуть пониже черта и значительно пострашнее дедушки домового, что жил то на чердаке, то в коровнике. Анчутка был худой, длинный, тонкий и прятался всегда в сумерках; он бы и вышел на люди, но как показаться без пят?

А Зюлейка – та и совсем не показывалась. Почему очутилось на устах няни это восточное имя персидских и арабских красавиц из «Западно-Восточного дивана» Гете, я не знаю, но Зюлейка у нее была не в чести: это была маленькая пакостница, какая-то злая обидчица непослушных детей, какая-то озорница из неведомой и нечистой силы. «Вот Зюлейка придет» – это предупреждение няни было неприятно, и мы совсем не хотели встречи с нею. Самое удивительное, что тем же именем «зюлейки», но с маленькой буквы, у няни и у нас назывались «козявки», извлекаемые пальцем из носу, что строго запрещалось.

Я давно вступил в самую законную неотъемлемую область старых нянь – в область сказки.

Сказки мы очень хорошо знали и без няни: мама нам читала вслух и русскую народную сказку (из детского издания сборника Афанасьева), и Андерсена, и братьев Гримм, и какие-то славянские сказки издания Гатцука. Я, обливаясь слезами, слушал про умирающего китайского императора и про маленькую серую птичку, своим пением отгонявшую смерть от его ложа. Брат заразительно смеялся, слушая в десятый раз про приключения храброго портняжки.

Нянины сказки были совсем не такие. Исходя не из книги (няня была плохо грамотна, еле разбирала печатное), они и не замолкали вместе с книгой. Они оставались в душе, они продолжались в жизни. В них был не вымысел, а быль необычайного.

Сумерки ползут в комнату через три окна, откуда их засылает зимняя навечерь: сумерки липнут к столу, к лежанке и пускают серый густой дым в углы комнаты.

– Няня, скажи сказку!

Няня, отложив спицы с чулком и зевнув, начинает:

– Жила-была...

Так может начаться длинная-длинная сказка. Страшная, тягучая, от которой бьется сердце и занимается дух: вот такой-то и хочется в этот сумеречный тихий получас.

Но няня делает хитрое лицо и продолжает:

...бабища,
Вздумала париться.
Взяла пук мочала,
Не начать ли сначала?

Мы громко изъясняем неудовольствие на «бабищу». Мы чуем в этой докучной сказке какую-то насмешку над сказкой и кричим:

– Няня! Скажи сказку! *Этих* не надо!

Этих – значит таких вот присказок: потому что были и другие – про царя и пр. Мы требуем настоящую сказку.

Любимая была про медведя. Мужик обманул медведя, отрубил у него ногу и унес к себе в избу. Медведь идет, хромая, за ногой к мужику, – вместо ноги у него дубовая коротышка.

– Топ-топ-перетоп, – корявым медвежьим голосом изображает няня медвежий ход.

У мужика в избушке огонь горит, он ногу медвежью коптит, а Топтыгин «топ-топ-перетоп» хромает, тяжелый, косматый, на деревяшке и вот-вот грозно застучит лапой в дверь к мужику.

– Где моя нога? Отдай мою ноженьку!

Я замирал сердцем, слушая медвежий топ, и жутко, и сладостно от этой жути: вот-вот войдет медведь и спросит в сумраке:

– А где моя ноженька?

Удивительно: я с этой сказки почувствовал к медведю особое почтение – и на всю жизнь.

Но куда страшнее и жутче было про бабу-ягу.

Обычная сказка – русский деревенский мальчонка Лутонюшка, перехитривший бабу-ягу, – была в няниных устах совсем не сказкой, хорошо нам известной и издавна любимой, а была повестью о действительном, бывалом и таком возможном, что вот-вот могло случиться с нами, купеческими детьми в Плетешках.

Баба-Яга,
Костяная нога.
Руки жилистые...

Нам стоило обернуться к окну, чтоб увидеть ее.

Окно выходило в узкий закоулок нашего сада, за ним был опушенный снегом забор, за забором – чужой сад, занесенный снежными буграми, а за бугром – старый дом, а в нем – видно было в окно – топилась русская печь. Ее широкое жерло пылало ярким, бурым пламенем и какая-то горбатая старуха в черном шлыке возилась с ухватами, ввергая в горячий пламень черные горшки и котлы.

– Горят огни горючие.
– Кипят котлы кипучие, —

сказывала няня.

Да какое же могло быть сомнение: вот они, эти огни, вот эти котлы за окном. Мы жались от страха друг к другу, и в сердце закрадывалось невольное опасение: Лутонюшка-то перехитрил бабу-ягу и не попал в горластую печь с пылающим жаром, такой он был молодец, славный мальчик, – а я? а мы?

Няня никогда не уверяла, но и не разуверяла нас в том, что старуха в шлыке – не Баба-Яга, а стряпуха, почему-то в этот сумеречный час всегда топившая русскую печь, и что горшки, что метала она в пламя, не с ягиной снедью, не с человечинкой, а с грешневой кашей и со щами, и сказка о Лутоне превращалась для нас в повесть о том, что было с ним, крестьянским мальчиком, а может быть, и с нами, купеческими детьми.

Няня была городской человек, не деревенский, и у нее были свои уже не сказки, а настоящие городские повести, чуть ли не страшнее сказок о разбойниках и о колдунах.

Во время путешествий к Елене Демьяновне наш путь лежал мимо Сухаревой башни, и от няни мы знали, что там – место недоброе: в башне этой жил некогда хитрый колдун и чернокнижник Брюс. Он умел превращаться в сороку и летал по Москве, всюду вызнавая всякие вести, тайны и потайности. Сорока же – птица недобрая: ей святой митрополит Алексей запретил гнездиться в Москве за то, что, когда он совершал обедню, она влетела в окно, унесла в клюве лжицу с престола.²⁸ У Брюса была живая и мертвая вода. Однажды он разрезал себя на куски и велел своему ученику сбрызнуть себя сначала мертвой водой, а потом живой – и все тело его задышало и задвигалось. Но в другой раз ученик, рассердившись на Брюса, сбрызнул его одной мертвой водой, а живую вылил из пузырька. Тело Брюса срослось, но он остался мертв, и его похоронили.

Все это было таинственно и жутко, это была уже не сказка – какая же сказка, когда есть Брюсов календарь, и мы каждый день ходим гулять мимо Брюсова дома?

Этот Брюсов дом был 2-я гимназия, на углу Елоховской и Разгуляя,²⁹ – большое старинное здание, говорят, в самом деле, принадлежало некогда графу Якову Брюсу. На здании была, на белом камне, выцарапана странная петля в виде огромной восьмерки, а вокруг нее какие-то знаки.

До сих пор не знаю, что это было такое. Теперь (1941 год) эта восьмерка давно заштукатурена и забелена под общий грунт всего здания.

Жалею ли я о том, что в детстве замирало у меня сердце от колдуна на Сухаревой башне, от Бабы-Яги, растапливавшей горластую печь на соседнем дворе? Нет, наоборот, я благодарен няне за это томно-тревожное замирание сердца, за сладость этой жути. Я признателен ей за то, что сказка для нас была не одним лишь затейливым вымыслом в детской книжке, как для современных маленьких взрослых, напрасно именуемых детьми, – сказка была для нас особою, иной действительностью, увлекавшею нас своей то ласковой, то жуткой тайной, сказка была для нас живой действительностью, манившею своими несказуемыми волнениями.

Кто не испытал в детстве этого сладостного наития тайны, тот никогда впоследствии не был в состоянии понять тех, кто веянием таинственного одухотворил свое отрочество, – ни Якова Беме, ни Новалиса, ни нашего Жуковского.

Няня сама глубоко верила в действительность сказки и непреложность легенды – и оттого не было ни малейшей фальши в том, когда она вводила нас в ее увлекательный сумрак.

А сколько было радости от этой живой сказки! Мы – не стыжусь в этом признаться – лет до 8, до 9 неколебимо верили в существование Деда Мороза.

Так бывало: подошло Рождество, наступил вечер первого дня праздника.

²⁸ Серебряную ложку, употребляемую при приобщении причастников. (Прим. С. Н. Дурылина).

²⁹ Ныне улицы Спартаковская и Старая Басманная. 2-я московская гимназия помещалась в здании бывшего дворца А. И. Мусина-Пушкина на Разгуляе. (Прим. А. Б. Галкина).

Мы ждем, мы трепетно ждем. В этот вечер должен прийти Дедушка Мороз с елкой. Он непременно постучится в дверь нашего дома, седой, бородатый, весь осеребренный инеем, неся в руках большую елку во всем ее рождественском убранстве, но он может и не войти в наш дом, и не внести елку в гостиную, как в прошлом году. Войдет он к нам или нет, это зависит от того, что он узнает про нас, про наше житье-бытье за год. За целый год! Чего-чего тут только не было! И капризы, и лень, и непослушание и... нет конца!

Мы напряженно ждем, не выходя из детской.

Вот раздается сильный звонок в передней. Так никто не звонит: ни папа, ни мама, ни старшие братья. Так звонит только Дедушка Мороз. Горничная бежит отпирать, и мы, прильнув к двери, ведущей в переднюю, слышим ее разговор с незнакомцем, медлящим войти в переднюю.

Незнакомец спрашивает ее грубым, но добрым голосом и очень отрывистыми словами:

– Дети у вас есть?

– Есть. Двое.

– Ага! А как они вели себя?

Вот тут-то и наступает страшный момент: что ответит Маша?

– Дети...

Она оглядывается и видит нас, подсматривающих в щелку.

– Старший – хорошо...

Я облегченно вздыхаю, но тут же охватывает меня тревога за брата.

– А младший? – спрашивает Дед Мороз.

Маша молчит. Дед Мороз уже недовольно побрякивает за дверью. Вот-вот он уйдет с елкой назад.

Мы делаем умоляющие знаки. Маша выдерживает долгую-долгую паузу.

Наконец, быстро и еле сдерживая смех, Маша отвечает:

– Тоже хороший мальчик.

И Дед Мороз тотчас оказывается за дверьми:

– Коли так, я внесу елку.

Нам очень хочется увидеть, как Дед Мороз войдет и внесет елку, но мама, как нарочно давая ему дорогу, плотно притворяет дверь, и нам остается отступить в детскую.

Через минуту-две появляется няня, отлучавшаяся зачем-то в кухню, и сообщает нам, что Дедушка Мороз пришел и ставит елку в гостиной, что сейчас нам надо покушать, а когда покушаем, он позовет нас на елку. Мы послушно «кушаем», спешно жуя жаркое.

Когда вся эта съеденная повинность исполнена, нас зовут в гостиную.

Там, во всей своей красе, сияет елка.

– А где же дед Мороз?

– Он ушел. Ему некогда; он спешит к другим детям, – сообщают нам, – но вот он оставил свой портрет.

Мы смотрим: и из-под нижних ветвей елки нам улыбается веселый румянощекий Дедушка Мороз в красной бархатной шубе, опушенной горностаем. Он картонный, но как он нам дорог! Дороже всех игрушек на елке! Ведь это он принес нам елку! Ведь это его голос мы слышали на парадном крыльце!

И кто же нас мог разуверить в том, что *нет* деда Мороза, когда мы слышали его звонок, его шаги в тяжелых ботах, его голос?

А Мороз-то был няня, изумительно менявшая свой голос.

Как я жалею тех современных маленьких взрослых, которые сами украшают свои елки и которые извлекают ватных морозов из коробок игрушечных магазинов, чтоб собственноручно повесить их на елку!

Как им должно быть скучно заниматься этим прозаическим делом! Это все равно что смотреть спектакль «Лебединое озеро» не из зрительного зала, а из задних кулис, откуда видны исподы декораций, машины и «выключатели» монтеров и где рядом с воздушными лебедями, ожидающими выхода, прохаживаются рабочие в синих блузах.

То ли дело в наше время! К нам Дед Мороз приходил сам, живой, веселый, радостный; мы слышали его голос, мы видели в передней даже снег, осыпавшийся с его валенок, *настоящий* снег, и мы горячо благодарили его за то, что он, несмотря на все наши годовые прегрешения, не прогневался на нас, а принес нам елку и обещал прийти и на другой год!

Няня не мастерица была петь. Но одну песню ее помню – подблюдную.

На святках в доме – внизу у сестер и на кухне – гадали. Гадали и у нас в детской. Заводчицей была няня. Она приносила большую глубокую тарелку, наполненную водой. По краям тарелки, в ровном расстоянии друг от друга, няня клала кольцо, щепотку земли, уголек и кусочек белого хлеба. В круглую половинку от скорлупы грецкого ореха вставляли остаток восковой свечи и, зажегши, спускали на воду.

Няня, горничные девушки, иногда черная кухарка Арина и мы с братом садились вокруг стола и с замиранием сердца следили за корабликом из грецкого ореха: куда он пристанет? Ежели к щепотке землицы – значит, загадавшего ждет могила, ежели к угольку – быть пожару, а коли к кусочку хлеба – к благополучию и богатству; кораблик, пристав к кольцу, сулил свадьбу. Когда гадающей бывала горничная девушка, возжеланным желанием ее была эта пристань с золотым кольцом.

Кораблик тихо плыл со своим лукавым огоньком. А няня подпевала или, скорее, приговаривала:

Мышь пищит – сто рублей тащит.

Еще попищит – еще притащит.

Гаданье наше было не без лукавства: гадавший или тот, кто ему сочувствовал, неприменно для других, поднимал благоприятный ветерок, подгоняя своим дыханием кораблик к «возжеланному берегу» – к колечку или к кусочку хлеба. От нянина глаза трудно было укрыться этому ветерку, но она и виду не подавала, что заметила, как ветерок под моим дуновением гонит кораблик к золотому колечку гадающей девушки-горничной.

В карты мы играли с няней в дурачки простые и в какие-то «Артамоновские дурачки», где карты раскладывались по столу кругом, в «пьяницы», в «свои козыри» и в «короли». Чтобы потешить моего брата, любившего брать верх в игре (с годами эта страсть к картам в нем вовсе утратилась, во мне всегда она отсутствовала), няня хитрым манером подсовывала ему все козыри, и он вечно блаженствовал в «королях», а няня постоянно пребывала в «мужиках» и неизменно оставалась горькою пьяницей.

Такою в жизни она не бывала, ни горькой, ни полугорькой, ни сладкой – никакой. Но в праздник, в именины или в гостях у хорошего человека (например, у бабушки Надежды Николаевны) няня любила выкушать рюмочку-другую настойки, рябиновой или на черносмординовом листу. От такой домашней рюмочки няня становилась моложе, живее, остроумнее; ее меткое слово оттачивалось еще острее, прибаутки слетали с ее языка еще бойчей.

Няня была одинока. Кроме Елены Демьяновны, «роденьки» у нее не было, и она о том не тужила. Был еще только женатый племянник. Он изредка приходил в гости, на Светлый праздник и на именины няни 8 октября. Племянник жил на острове, образуемом Москвою-рекою и Канавою, у Краснохолмского моста, и служил кем-то по «навигационной части». Какая может быть «навигационная часть» у ленивой, мелководной Москвы-реки? Место было спокойное, ленивое, а комнатка, полагавшаяся по службе, была уютная, теплая, с геранями и фуксиями на окнах.

Звали его Владимир... не помню, как по батюшке, а фамилия была Князев. Верно, и племянник-то он был какой-нибудь двоюродный или троюродный (в те времена внимательно считались родством и не теряли родовой связи). У няни в гостях, в нашей детской, он был, как «князь», как жених на деревенской свадьбе. Мы с особым уважением взирали на него. Он рассказывал о шлюзах на Москве-реке и разглаживал бороду. Мама, узнав, что к няне пришел в гости племянник, приказывала накормить его и напоить чаем и заходила в детскую поздороваться с ним и с его женою, разодетою в какое-нибудь «пунцовое платье» с зеленым «рюшем».

Няня накрывала наш детский стол *своей* скатертью, извлеченной из сундука, и уставляла ее всякими яствами и графинчиками с настойками, отливавшими изумрудом и рубином. Наше счастье было велико: и мы тоже были в гостях у *няни*! В самом деле: няня нас, действительно, признавала настоящими гостями и гостеприимно потчевала грибами, соленьями, моченьями.

После закуски следовал чай из приветливого няниного маленького самоварчика, обладавшего ласковым серебряным голоском, – чай с особым няниным вареньем. Нас мудро было удивить вареньями: у нас в доме из своих ягод и яблок и из покупных его варилось много сортов, на все вкусы, и мать в этом деле была мастер-законодатель. Но у няни было особое варенье, не такое, как у мамы: ералаш. В нем были и китайские яблочки, и сливы, и клубника, и крыжовник, и маленькие дольки грецких орехов, точно целый плодовый и ягодный сад помещался в нянину вазочку синего стекла! Ералаш казался нам амврозией; мы пили одну чашку, другую, подставляли третью – лишь бы продлить блаженство. Но няня пресерьезно начинала нас уверять, что кто много пьет, у того в животике заводятся лягушки.

Брр! Лягушки! Это отвратительно, и я решительно отодвигал в сторону чашку и принимался слушать рассказы нянина племянника о том, как в минувшую весну Москва-река приходила к ним в гости в их комнату.

Няня вообще не любила, когда мы засиживались за столом – за чаем ли, за обедом ли. Кушать надо было, ничем не развлекаясь: не играть хлебом, не катать из него катышки – это великий грех: хлеб – дар Божий; на обеденный стол ничего нельзя класть постороннего, кроме хлеба-соли: «стол – престол», говаривала няня. Но когда обед кончен, засиживаться за столом нельзя. Иногда так бывало: кончится обед, и спрашиваешь няню (а иной раз – и маму):

– А еще что будет?

– Кресты.

И ждешь этих крестов. Мерекаешь: это будет какое-нибудь пирожное, что-то выпеченное из сладкого теста. И вдруг:

– Что же ты не встаешь? Крестись.

– А кресты?

– Вот тебе и кресты.

Величайшая была досада.

И вдруг, через десятки лет, живучи в Челябинске, я узнал, что на четвертой, средо-крестной неделе поста, здесь пекут, действительно, «кресты» из теста и едят их. А я-то с детства уверился, в конце концов, что никаких съедобных крестов нет и все это нянин обман вместо пирожного!

А иногда спросишь няню, что еще подадут на стол, и она ответит:

– Пустышку с ничевушкой.

Тут уж дело было ясное – и приходилось молча выходить из-за стола с некоторым конфузом.

Она приберет со стола и примется за дело. Она никогда днем не лежала и «лежебока, лежень, лентягус» были у нее сильно обличительными словами. Если она не вязала чулка, она занималась другой работой: вязала коврики из тонких разноцветных лоскуточков. Эти коврики

стелились перед нашими кроватями, чтоб босыми не ступать на крашеный пол, а в маминой спальне их настилали перед «божницами» – становиться на них при земных поклонах.

Няня, как я сказал, была плохо грамотна, но к книге и учению у нее было уважение. Она с зоркостью заметила, что я, еще неграмотный, люблю срисовывать буквы и слова с чайниц и коробок, и обратила на это внимание мамы, наделяя меня теплыми похвалами. Я еще еле-еле научился брести по книге и не с большой охотой принимался за чтение, а няня уж подарила мне «Родное слово» Ушинского. Подарок был как нельзя лучше: превосходная книга Ушинского доставляла мне большое наслаждение.

С истинной гордостью встретила няня мои первые детские стихи, и она же, много лет спустя, с восторгом смотрела на первые мои строки, появившиеся в печати.

Няня любила послушать чтение вслух, ее особенно интересовали исторические романы. Иван Грозный, Минин и Пожарский, Петр Великий и Мазепа, Суворов и Кутузов, Наполеон и пожар Москвы – все это были для нее живые люди и волнительные события, вызывавшее у нее одни – сочувствие, другие – вражду. Со временем она узнала Пушкина, и ей нравилось не только то, что он написал, но, главное, нравился он сам – жизнелюбивый, всегда бодрый и смелый, даже озорной.

Этот интерес к чтению у нее не ослабевал, а рос к старости. Она с интересом слушала чтение газет – ее интересовали военные известия и всяческие происшествия. А то, что «читать романы или слушать – грех», и можно читать только душевспасительные книги – это ей и в голову не могло прийти: так здрава и свежа была эта голова.

Когда-то, еще до поступления в наш дом, она была в Большом театре и видела «Демона», и с увлечением рассказывала нам всю историю Демона и Тамары.

До чего живо она все воспринимала и переживала видно из того, что, когда хищные лезгины, обнажив кинжалы, поползли тайком к спящему князю Сидодалу и его спутникам, няня не могла стерпеть и закричала на весь театр:

– Вставайте! Зарежут!

Когда старшие братья и сестры устраивали домашние спектакли, няня была их первой помощницей и ходатайницей пред отцом и матерью в различных их монтировочных и бутафорских нуждах.

* * *

Как легко и широко развертываются страницы прошлого, на которых написано имя няни! А между тем так мало было этих страниц в моей детской жизни!

Мне еще не исполнилось восемь лет, как няня ушла от нас.

Это было для меня первое горе – и сразу *великое* горе.

Няня ушла, в чем-то и как-то не поладив с мамой.

В чем было дело, кто был прав, кто виноват, или, может быть, обе были правы и обе виноваты, – не знаю и никогда не знал. И большое мое счастье в том, что не знаю: я обоих их любил горячо и судить их, ту или другую, мне было ужасно тяжело, а теперь и не может быть никакого суда: у меня нет и, что особенно важно и хорошо, и никогда не было никаких для него данных. Замечательно, что и в детстве ни от няни, ни от мамы я никогда не допытывался, почему ушла няня, верно, сердце предостерегало меня от суда над любимыми людьми, но я благодарен им, няне и маме, что и они, в свой черед, никогда не посвящали меня в причины нянина ухода.

Просто няня ушла от нас – и вскоре поступила в Андреевскую богадельню Московского Купеческого Общества, находившуюся за Нескучным садом.

Нам не решились сказать сразу, что няня ушла навсегда. Нам сказали только, что няня куда-то уедет по внезапно встретившейся надобности. А через некоторое время мы узнали, что няня ушла навсегда.

Пережить разлуку с няней было мне очень трудно.

На ее место поступила к нам дальняя мамаина родственница или свойственница, старуха Катерина Сергеевна. Мы ее с братом – каюсь – если не возненавидели, то была она первый человек, к которому я почувствовал прямую нелюбовь. Ничего не скажу про нее плохого: старуха как старуха. Нюхала табак, ворчала, молилась Богу, на ночь надевала какой-то нелепый чепец; читала нам наставления, что-то жуя (не табак ли?), но на нас веяло от нее таким холодом, таким равнодушием к нашему детскому бытию, таким откровенным желанием: «Ах, отвяжись от меня: мне бы табачку понюхать да поспать послаще да подольше!» – что мы ответили ей полным «неприятием» ее существования в нашей детской. На что нам она? И что нам с нею делать? Мы старались как можно меньше иметь с нею дела, как с чужой ворчливой старухой, которую почему-то положили спать в нашу детскую. Но ведь эта Катерина Сергеевна не просто была чужая, малопривлекательная старуха, зашедшая в нашу детскую. Эта старуха с табаком под носом вторглась к нам вместо няни, вместо нашей милой няни Поли, на ее место, храпит на ее кровати и воображает, что мы должны ее любить, как нашу няню! Не будет этого! Я никогда не называл ее «няней» – это казалось мне кощунством. Мы ее не обижали и не преследовали какими-нибудь шалостями, но у нас была твердая нелюбовь к ней.

Мама скоро почувствовала, что Катерина Сергеевна невозможна как преемница няни, да она и сама не могла не почувствовать этого, и она, к большой нашей радости, уехала от нас.

Но на ее место приехала не няня Поля, как втайне я надеялся, а няня Евгения, высокая, здоровая девица лет сорока, из бедных «поповен», из Ефремовской глуши Тульской губернии. С няней Евгенией мы жили мирно: она хорошо за нами ходила, не охала на работу, обладала добродушием, но до няни Поли ей было далеко: ни нянина ума, ни ее тонкой сердечности, ни житейской теплоты у нее не было и следа.

Она была просто хорошая работница с маленьким царьком в голове; «таланта быть няней», который был у Пелагеи Сергеевны, у нее вовсе не было. Но по-своему она нас любила, и мы это почувствовали и жили с ней дружно.

Но няня Поля продолжала жить в наших сердцах и душах. Никто ее места не занял ни на полвершка.

Как только няня определилась в Андреевскую богадельню, мы стали неотступно проситься: «К няне! К няне!»

Путь с Плетешков за Калужскую заставу, за Нескучный сад, в соседство с Воробьевыми горами был далек: добрых восемь верст. На извозчике, на Степановой каурке, туда езды больше часа. Дело было зимой; нас всегда боялись «простудить» и редко-редко выпускали даже к бабушке, к Яузскому мосту, что было больше чем вдвое короче, чем к няне. Но просьбы наши были так неотступны, что, укутав в башлыки, укрыв пледом, нас снарядили к ней «на Степане» с черной кухаркой Ариной.

Радости не было конца, когда мы, озябшие и присмирившие от волнения, вошли в нянину «палату». В ее богадельне было попросторнее и почище, чем в Елене-Демьяновниной (старушка к тому времени была уже в могиле), но все было в том же роде: высокие окна, штукатуренные в белую краску стены, деревянные полы, койки с байковыми одеялами, столики между ними; старухи в синих, одинаковых у всех ситцевых платьях. Лишь в углу не было большого образа, а на полках были уставлены иконы, принадлежавшие старухам, и перед ними теплились разноцветные лампы.

В простенке между окнами висела черная дощечка в золоченой раме, на ней золотыми литерами было написано: «Палата имени Его Императорского Величества Государя императора Николая Павловича».

Няня – показалось нам – постарела, похудела и «уменьшилась» ростом. Но не уменьшилась в ней любовь к нам: она не знала, чем нас накормить и как приветить. «Черная» Арина развязывала привезенные гостинцы, а няня ставила маленький свой самовар, накладывала в вазочку ералаш и тут же мерила мне на кулачок еще не довязанный чулок, и тут же целовала нас, и тут же посылала соседку за квасом, за черным хлебом, возобновляя любимые нами «Елена-Демьяновнины» лакомства, и тут же похвалялась с улыбкой:

– Вот какая ваша няня Поля: под царем живет, – и указывала на черную дощечку в золотой рамке, висевшую над ее постелью; и тут же смахивала украдкой крупную одинокую слезу, наворачивающуюся на ресницы.

Мы целовали няню наперебой и наперебой же делились с ней своими детскими новостями.

Начиналось чаепитие с ералашем, а из нянина ящика, из-под подушки, отовсюду появлялись новые и новые лакомства. Ах, как они были вкусны!

Но самое главное лакомство была сама няня.

Мы лакомились ею и не могли вдоволь наесться: так скоро падали сумерки и «черная» Арина уже торопила нас домой. Не подпуская к нам Арину и усиленно ее потчует, няня сама, своими руками, одевала нас и, любуясь нами, не могла не поделиться гордостью с соседками:

– Вот какие мои выходки! Не забыли няни! Из этакой приехали дали!

И старухи, кто, подлаживаясь под нянин тон в чайнии скорого чаепития с гостинцами, кто искренно и просто, разделяли ее радость...

Няня провожала нас за ворота богадельни, усаживала в сани, укутывала пледом, извозчицкой полостью и целовалась с черной кухаркой Ариной, благодаря ее за то, что привезла дорогих гостей, и крестила нас до той поры, пока каурка не уносила нас к Нескучному саду.

Эти наезды к няне были для нас большим праздником. Еще большим праздником – всегда неожиданным – был ее приход к нам. Она оставалась у нас ночевать, гостила день, другой, третий – и тогда нам начинало казаться, что вернулась наша старая жизнь.

А она ушла безвозвратно.

Иногда няня присылала письма на имя мамы, где писала, что стосковалась по нас, а сама не так здорова. Мы ехали навестить ее, а если не решались нас, по плохой погоде, пустить к няне, то посылали «черную» Арину с гостинцами, и мы завидовали ей. Арина никогда не возвращалась без гостинцев от няни. Иногда же няня присылала проведать нас какую-нибудь свою доверенную старуху, отправлявшуюся в город к родственникам. Старуху засыпали мы вопросами о няне, кормили, поили чаем, давали ей на извозчика и отсылали с подарками няне... Одна из таких старух – добродушная Кирилловна – стяжала особую нашу привязанность за то, что была верный нянин посол.

Шли годы. Я поступил в гимназию, из своего дома мы переехали в маленькую квартирку, умер отец, из отрока я превратился в юношу, я вышел из гимназии, менялась вся моя жизнь, менялся я сам, очерствлялось сердце, грубела душа, усложнялась умственная жизнь, но никогда ни в чем – «ни на эстолько!», по нянину выражению; она поднимала при этом мизинчик и смешно его показывала, будто крошечный грибок из-под мха, – «ни на эстолько» не менялось мое (и братнее тоже) отношение к няне: нас по-прежнему тянуло к ней, нам по-прежнему, а может быть, еще больше прежнего, был дорог приветливый серебряный голосок ее самовара, нам по-прежнему бесценно было ее сердечное, емкое слово, нам нужен был ее незлобивый укор, нам тепла была ее умная улыбка. Юность забывчива; она, как сказал где-то Тургенев, «ест пряники неписанные и думает, что всегда будет их есть»,³⁰ и редко задумывается о том, есть ли у других эти пряники или даже хлеб насущный. Забывчива была и моя юность, но не для няни.

³⁰ Тургенев И. С. Роман «Рудин».

Бывало, смутно станет на душе (впрочем, «души» в те критические годы не полагалось, – ну, не в «душе», так в чем-то, в каком-то ее научном, одобренном 18-летней мыслью псевдониме), – смутно станет на душе и потянет к няне.

Ничего не везешь ей, никакого гостинца. Везешь с собой только груз юношеских томлений и целый ассортимент «вопросов», без немедленного разрешения которых, кажется, жизнь была не в жизнь.

Конка – однолошадная маленькая коночка, о которой мой товарищ Костя Толстов пел: «Ах, старушка конка, догони цыпленка!» – ползет медленно по широкой, обрамленной старыми садами и веселыми палисадниками Большой Калужской улице. От заставы надо идти пешком – и как это приятно после городского гама и пыльного шума! Тихо и сонно, почти как в провинциальном городке.

Вот и богадельня. Она на самом берегу Москвы-реки, и ничего в ней нет казенного. К ней подходишь, как к монастырю: высокие купола церкви высятся из-за белых корпусов, как из-за толстых стен. Это и есть бывший Андреевский монастырь, основанный в XVIII веке просвещенным боярином Федором Ртищевым, который собрал сюда ученых монахов и любителей книжного дела. Посреди двора возвышается прекрасный собор XVII века в честь «Воскресения Словущего». Подле него – большая колокольня. Андреевской богадельня называлась потому, что была еще церковь во имя св. Андрея Стратилата.

Нехотя взглянешь, бывало, на эти старинные храмы, но все-таки взглянешь, а няня непременно расскажет о них и позовет на храмовый праздник, и спешишь к ней в палату. Няня – уже старенькая и сухенькая, но по-прежнему живая и спорая во всем, – всплеснет руками от радости и примется тотчас же хлопотать об угощении.

Угощение теперь идет немного на другой лад: прежде нас надо было только полакомить, теперь она старается нас накормить: старого дома с его вечно полной чашей уже давным-давно нет, а у молодежи желудок дна не знает.

На наши молодые дела и прегрешения (она знает их от мамы) няня только головой покачает или лишний раз назовет сокрушенно: «Зрячий ты, зрячий!», но ни слова упрека, ни, тем паче, осуждения, отнюдь ни в чем не «мирволя». Накормит, напоит, засунет в карманы по ломтю хлеба (он в богадельне также был превосходный), сунет за пазуху только что связанные носки или перчатки и поведет гулять на набережную Москвы-реки. Там и дышать легче, и говорить вольнее.

Она сама любила природу, она зимою постоянно подкармливала птиц (но не любила держать их в клетках и нам внушила эту нелюбовь); она выхаживала тщательно и любовно цветы и любила, когда кто любит природу. Посидим, вспомним былое, полюбуемся на тихую родную реку, ленищуюся в летней истоме, на зеленые кручи Воробьевых гор, опирающиеся на желтые прибрежные пески; няня меня перекрестит, я спущусь к реке, сяду в лодку к перевозчику и отплыву к тому берегу: там, в Хамовниках, на Плющихе, у меня «дела», очень неотложные и важные, как казалось мне тогда, и понапрасну, по-пустому отрывавшие меня от свидания с няней, как сдается мне теперь. Няня никогда не спросит, какие это дела, но чуточку, самую малость, нахмурится: «путанные дела», мол. И долго, удаляясь на лодке, вижу я, как она украдкой крестит меня и не отрывает глаз от меня, а я машу ей платком, увозя от нее сокровище любви, цену которому узнаешь, лишь прожив жизнь.

В годы нашей бурной юности няня встречалась у нас с нашими товарищами, приятелями и знакомцами разных жизненных углов, житейских пошибов, политических взглядов и общественных устремлений.

Она никогда не вмешивалась в наши толки, беседы и прения ни с какими поучениями и наставлениями. Никаких «прав старости» на руководство молодостью она за собою не признавала или, во всяком случае, никогда их не предъявляла; ни в какую стычку с новым временем она не входила, но с какой-то удивительной свежестью чувства и отзывчивостью сердца умела

воспринять она многое – и, по совести сказать, лучшее – из наших устремлений, а надо многим умела безобидно посмеяться или не без добродушного лукавства покачать головой. Но суда над молодежью и над ее бурными порывами она на себя не брала и потому никогда не терпела от тех обычных нападений, которым подвергается косная старость от окрыленной молодости.

Но удивительное дело! Не разбираясь ни в каких политических толках, няня умела чутко распознать человека сквозь его маску из идей и слов, надетую иной раз так плотно, что она казалась приросшей к лицу. Няня, бывало, вяжет чулок или штопает носки (мы оттопывали их в те годы странствий без числа!), а сама прислушивается к нашим горячим спорам, и вдруг, много спустя, скажет:

– Чубастый-то ерепенится, а пустой он: шалтáй-болтáй.

Мы тотчас же ринемся на защиту «чубастого»: он чуть ли не лидер в нашем кружке, бурный «активист», как сказали бы теперь, специалист по «рабочему вопросу». А няня упорно твердит свое:

– Что ты хочешь, а у него все – по нетовому полю пустыми травами.

И через годы, а то и через месяцы приходится признаться: няня была права.

А про другого товарища, державшегося скромно и неуверенно, большей частью отмалчивавшегося, она отзовется с похвалой и погрустит, и пожалеет его: хороший, дескать, человек, да запутают его «путанные дела». И тут же спросит: «Мать-то жива у него?»

У няни было тонкое чутье на человеческую доброкачественность: она определялась для няни не тем, кто что сказал или был ли с нею «обходителен»; доброкачественность эта определялась чем-то совсем другим: няня зорка была на испод человека, а не на покрывку, которою он себя покрыл.

А всю вообще молодежь, ринувшуюся в 1902–1905 годах в политическую борьбу, она жалела без разбору: жалко ей было и «хороших человек», и «шалтáй-болта́ев».

Но она умела не только жалеть.

Ее богадельня за Калужской заставой была тихим местом, словно огороженным монастырскими стенами, и брату, в эпоху 1905 года бурно ринувшемуся в то, что няня называла «путанными делами», пришло в голову, что не может быть лучшего места для хранения только что отпечатанных на гектографе прокламаций и браунингов, как нянина богадельня-монастырь.

Однажды он явился к няне со своим тщательно упакованным гостинцем и, улучив минуту, попросил няню подержать это у себя, отнюдь это не развязывая. Няня ни слова не возразила, хотя отлично поняла, что получила и на свою долю весьма «путаное дело». Поблагодарив «выходка» вслух за подарок, она спокойно прибрала его туда, куда обычно прибирала свое вязанье, клубки и мотки пряжи – под подушку, а потом, в укромную минуту, переложила под тюфяк. Брата напоила она чаем, как обыкновенно, но, жуясь на лому в суставах, провозжать за ворота не пошла, а довела только до двери и попеняла ему:

– Ах, хаосник! хаосник!

«Путаное дело», принятое нянею, было опасное дело: любая старуха-соседка, снедаемая любопытством, могла в ее отсутствие пошарить и под подушкой, и под тюфяком, и дело кончилось бы для няни печальным образом. Но няня ради своего «хаосника» приняла на себя весь этот страх и риск, нисколько, подчеркиваю это, не сочувствуя «путаным» его предприятиям, и зорко оберегала «гостинец»: когда брат через некоторое время явился за ним, все было в целости, в неприкосновенности, все осталось никому не ведомо, никому в точном смысле слова, даже я так и не знал бы об этом «гостинце», если б не сказал мне о нем сам брат.

Вся наша жизнь – с младенчества до юности – прошла под любящим взглядом няни.

Когда ее зоркий и живой взор погас³¹ – она умерла в 1908 году, 15 апреля, в четверг на Светлой неделе – в мире потемнело для нас, и за всю дальнейшую жизнь никто для нас не возобновил этого света.

Из богадельни нам не дали вовремя знать о болезни няни, очень короткой – у нее была старая болезнь сердца, и поздно уведомили об ее смерти. Мы приехали с мамой уже в день ее погребения, до заупокойной литургии. Она лежала в гробу в соборе Воскресения Словущего. Был пасмурный день, лил дождь, но над нею раздавались песни о Воскресении Христа. Светлые и ликующие песнопения ее любимого праздника сопровождали ее в могилу.

Я похристосовался с нею, прощаясь. Она сама выбрала себе могилу на том же Даниловском кладбище, где был погребен мой отец и ее выходок – Коля. Она захотела лечь под большой плакучей березой. «Тут найти меня легче, – говорила она, – и лежать хорошо под березой».

С тех пор прошло тридцать три года. Давно уже прибавилась на Даниловском кладбище другая могила – мамы, пережившей няню лишь на шесть лет. Обе могилы дороги мне одинаково, нераздельно, навечно.

Через два года после смерти няни, вернувшись с ее могилы в Светлый же день, я написал:

На дерн, весенне зеленеющий,
Кладу я красное яйцо
Тебе, усопшей, мирно тлеющей,
Гляжу в далекое лицо.
И со святыми упокоенной,
Что горесть поздняя тебе?
Здесь слез воскресших удостоенный,
Приникнув, плачу о себе.
Залогом верного свидания
Вручи мне крепкое кольцо —
Твое пасхальное лобзание
И красное твое яйцо.

Эта просьба моя к няне – последняя просьба к ней – остается для меня в силе и до последнего дня.

Болшево. 8–16. XII. 1941.

* * *

Няня была родом, как я уже говорил, москвичкой, и у ней был настоящий дар любви к родному городу. Она хорошо знала Москву и ее достопамятные места. Она гордилась огненным подвигом Москвы в 12 году. Кремль был для нее сердцем Москвы. Она водила нас, детей, туда, и вместе с матерью зажгла в нас любовь к этому сердцу Москвы, к его народным святыням и седой старине его древних стен и башен. Замечательно, что ни няня, ни мама не водили нас в храм Христа Спасителя, «Новый собор», как его называли тогда. Но древние соборы Кремля мы узнали под руководством мамы и няни еще в раннем детстве. Я полюбил их древний сумрак, их вековую тишину и чувствовал глубокое благоговение к их святыням и живой интерес к историческим преданиям, связанным с московскими царями и святителями.

Помню, однажды няня привела нас в Архангельский собор, и не в первый раз с глубоким волнением стояли мы перед ракой мощей Царевича Димитрия. Рассказ об его убиении с незапамятных времен детства волновал меня. На крышке раки было шитое золотом и шел-

³¹ Она никогда не носила очков. (Прим. С. Н. Дурылина).

ками изображение маленького Царевича. Я не сводил с него глаз. А няня говорила, что он спит теперь в своей раке, зажав в ручке орешки: так настигли его безбожные убийцы, игравшего во дворе с детьми. Много лет спустя, когда я прочел рассказ Патриарха в «Борисе Годунове» Пушкина и еще позже, когда я увидел картину Нестерова «Димитрий Царевич убиенный», и встретил у великого поэта и у замечательного художника тот же образ Царевича-ребенка, который навевала нам няня в самом раннем детстве. Она, как и мать, водила нас в тот темный предел Архангельского собора во имя Иоанна Предтечи, в котором находится гробница Ивана Грозного. Как мать, так и няня говорили, что надо молиться за грозного царя, за его страждущую душу. И в этом темном пределе древнего собора, у его гробницы зародился в воображении моем тот образ Грозного, который впоследствии предстал предо мною в такой силе в творениях Лермонтова и Алексея Толстого.

С Архангельским собором связано у меня одно теплое воспоминание, неотрывное от образа нашей няни. Мы пришли с нею в собор, когда там шла обедня. Служил известный, чтимый многими протоиерей Валентин Амфитеатров³² (отец писателя и публициста А. В. Амфитеатрова³³). Было много народу – все почти женщины с детьми. Отец Валентин причащал детей. И тут внезапно няня решила причастить не только моего брата, но и меня. А я уже был в том возрасте, когда детей заставляют говеть перед причастием. Я уже исповедовался минувшим Великим постом у Богоявленского протоиерея Березкина.³⁴ Няня это знала, но в каком-то особом порыве любви и веры подвела меня к царским вратам, и отец Валентин причастил меня.

Когда мы вернулись домой, и мама узнала об этом, она довольно строго заметила няне: «Да ведь Сережа уже говел. Как же причащать его без говения и исповеди!»

Няня решительно возразила матери:

– Да разве у Сережи больше грехов, чем у других детей, которых причащали в соборе? Чем он грешнее других?

В этом вопросе было столько любви к своим выходкам, что мама махнула рукой и ничего не возразила няне.³⁵

³² Амфитеатров Валентин Николаевич (1836–1908) – протоиерей, глубоко почитаемый московский проповедник, духовник. С 1892 года – настоятель кремлевского Архангельского собора. Часть проповедей о. Валентина опубликована (в т. ч. «Духовные беседы, произнесенные в Московском Архангельском соборе в 1896–1902 годах»), а часть сгорела во время пожара.

³³ Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938, Италия) – прозаик, публицист, драматург.

³⁴ Березкин Иоанн Яковлевич (1837–1919) – настоятель московского Богоявленского собора в Елохове. Дурылин пишет: «Крестил меня протоиерей Иоанн Яковлевич Березкин. Он маму и венчал; ему же суждено было и отпевать ее».

³⁵ Этот текст напечатан на отдельных листочках и вложен в папку «Няни».

Пушкин и няня³⁶

Стихи, письма, воспоминания

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов, игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя; в вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.
Младенчество прошло, как легкий сон.
Ты отрока беспечного любила,
Средь важных муз тебя лишь помнил он,
И ты его тихонько посетила;
Но тот ли был твой образ, твой убор?
Как мило ты, как быстро изменилась!
Каким огнем улыбка оживилась!
Каким огнем блеснул приветный взор!
Покров, клубясь волною непослушной,
Чуть осенял твой стан полувоздушный;
Вся в локонах, обвитая венком,
Прелестницы глава благоухала;
Грудь белая под желтым жемчугом
Румянилась и тихо трепетала...

Так рассказывал Пушкин о встречах со своей Музой.

Ее первое явление поэту он воспринимал как чудесную сказку, услышанную от «наперсницы волшебной старины» – няни Арины Родионовны.

Этот образ няни – один из самых светлых в поэзии и в жизни Пушкина.

«Соединение добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодежи с притворною строгостью оставили в сердце Пушкина неизгладимое воспоминание. Он любил ее родственною неизменной любовью и в годы возмужалости и славы беседовал с нею по целым часам /.../ Весь сказочный русский мир был ей известен как нельзя короче /.../ Поговорки, пословицы, присказки не сходили у ней с языка /.../ В числе писем к Пушкину почти ото

³⁶ Глава «Пушкин и няня» хранится в Мемориальном доме-музее С. Н. Дурылина в Болшеве (КП 325/14). Незавершенный текст написан фиолетовыми чернилами; правка внесена зелеными чернилами. Воспроизводим текст по автографу. Правка учтена, недописанные слова дописаны. Ссылки на цитаты, сделанные Дурылиным в конце каждого текста, вынесены в сноски. Цитаты, вписанные Дурылиным по памяти, сверены по изданиям, на которые он ссылается.

всех знаменитостей русского общества находятся и записки от старой няни, которые он берег наравне с первыми». ³⁷

Когда южное изгнание Пушкина сменилось ссылкой на север, в снегах Михайловского няня Арина Родионовна явилась единственным утешением и поддержкой опального поэта.

«Сосланный в псковскую деревню, – рассказывает один из друзей Пушкина, – он имел там развлечением старую няню, коня и бильярд, на котором играл тупым кием. Его дни тянулись однообразно и бесцветно. Встав по утру, погружался он в холодную ванну и брал книгу или перо; потом садился на коня и скакал несколько верст; слезая, уставший ложился в постель и брал снова книги и перо; в минуты грусти перекачивал шары на бильярде или призывал старую няню рассказывать ему про старину, про Ганнибалов, потомков Арапа Петра Великого». ³⁸

«Я один-одинешенек; живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни. Стихи не лезут», – писал Пушкин князю П. А. Вяземскому в январе 1825 года из Михайловского, и то же повторял он в июле этого года Н. Н. Раевскому: «...я в совершенном одиночестве: единственная соседка, которую я посещал, уехала в Ригу, и у меня буквально нет другого общества, кроме моей старой няни и моей трагедии; последняя подвигается вперед, и я доволен ею». («Борис Годунов». – С. Д.)

О своем образе жизни в засыпанном снегами Михайловском Пушкин писал (1824) брату Льву: «Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания».

Эти «сказки» няни передал он своему русскому народу в своих чудесных Сказках «О царе Салтане» и «О мертвой царевне и семи богатырях» и др.

«Он все с Ариной Родионовной, коли дома, – вспоминает дворовый Пушкина Петр. – Чуть встанет утром, уже бежит ее глядеть: «Здорова ли мама?» Он ее все «мама» называл. А она ему, бывало, эдак нараспев (она ведь из Гатчины у них взята, с Суйды, там эдак все певком говорят): «Батюшка, ты за что ты меня «мамой» зовешь, какая я тебе мать?» – Разумеется, ты мне мать: не то мать, что родила, а то, что своим молоком вскормила). – И уж чуть старуха занеможет там что ли, он уж все за ней». ³⁹

В начале декабря 1824 года Пушкин пишет Д. М. Княжевичу (?): ⁴⁰ «Вот уж четыре месяца, как нахожусь я в глухой деревне, скучно, да нечего делать. /.../ Уединение мое совершенно, праздность торжественна. Соседей около меня мало. Я знаком только с одним семейством, и то вижу его довольно редко; целый день верхом, вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны. /.../ Она – единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно».

Этой единственной своей «подруге» Пушкин посвятил свое стихотворение «Зимний вечер», написанное в Михайловском. /.../

О «доброй подружке» Пушкина с любовью и благодарностью отзываются и те редкие друзья Пушкина, которые навещали его в изгнании.

К няне Пушкина обращается поэт Н. М. Языков:

Свет Родионовна, забуду ли тебя?
В те дни, как сельскую свободу возлюбя,
Я покидал для ней и славу, и науки,

³⁷ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. 1855. (Сноска С. Н. Дурылина). (Цитаты сверены по изданию: Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., «Современник», 1984.)

³⁸ Смирнов Н. М. Из памятных заметок. / Русский Архив. 1882. Кн.1 (2). С. 230. (Прим. С. Н. Дурылина).

³⁹ Тимофеев К. Я. Могила Пушкина и село Михайловское. Журнал Министерства Народного Просвещения. 1859. Т. 103, отд. II, С. 144–150. (Прим. С. Н. Дурылина).

⁴⁰ Адресатом этого письма, сохранившегося в черновом наброске, предположительно считают Д. М. Кнежевича. Анненков опубликовал его как «Письмо к г. К.», и лишь начальные буквы имени и отчества позволили предположительно установить адресата.

И немцев, и сей град профессоров и скуки,
Ты, благодатная хозяйка сени той,
Где Пушкин, не сражен суровой судьбой,
Презрев людей, молву, их ласки, их измены,
Священнодействовал при алтаре Камены.
Всегда приветами сердечной доброты
Встречала ты меня, мне здравствовала ты,
Когда чрез длинный ряд полей, под зноем лета,
Ходил я навещать изгнанника-поэта,
И мне сопутствовал приятель давний твой,
Ареевых наук питомец молодой.⁴¹
Как сладостно твое святое хлебосольство
Нам баловало вкус и жажды своеволие!
С каким радушием – красою древних лет —
Ты набирала нам затейливый обед!
Сама и водку нам, и брашна подавала,
И соты, и плоды, и вина уставляла
На милой тесноте старинного стола!
Ты занимала нас – добра и весела —
Про стародавших бар пленительным рассказом.
Мы удивлялись почтенным их проказам,
Мы верили тебе, и смех не прерывал
Твоих бесхитростных суждений и похвал;
Свободно говорил язык словоохотный,
И легкие часы летали беззаботно!

«К няне Пушкина»

Вспоминает «свет Родионовну» и тот друг Пушкина, приезд которого в «опальный» домик поэта доставил ему величайшую радость, – лицейский товарищ Пушкина, будущий декабрист Ив. Ив. Пущин:

«Было около восьми часов утра. /.../ Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один – почти голый, другой – весь забросанный снегом. Наконец, пробила слеза, /.../ мы очнулись. Совестно стало перед этой женщиной, впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, чуть не задушил ее в объятиях /.../

Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи /.../ Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. /.../ Начались тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей /.../. Незаметно полетела в потолок и другая пробка; попотчевали искрометным няню, а всех других – хозяйскою наливкой. Все домашнее население несколько развеселилось; кругом нас стало пошумнее, праздновали наше свидание. /.../»

Но был в Михайловское и другой приезд, столь же внезапный, но вовсе не радостный...

Наступил сентябрь 1826 года. «Приехал вдруг жандармский офицер из города, – вспоминал дворовый Пушкина Петр, – велел сейчас в дорогу собираться, а зачем – неизвестно. Арина Родионовна растужилась, навзрыд плачет. Александр-то Сергеевич ее утешать: „Не плачь, мама, говорит, сыты будем; царь хоть куда ни пошлет, а все хлеба даст“».

⁴¹ Ал. Вульф. – (Прим. С. Н. Дурылина).

Зная за собой несколько либеральных выходок, Пушкин убежден был, что увезут его прямо в Сибирь. «В длиннополом сюртуке своем собрался он наскоро», – так рассказывает декабрист Лорер⁴² со слов брата Пушкина, а одна из тригорских барышень, собеседница Пушкина, вспоминает: «Пушкин был у нас; погода стояла прекрасная; мы долго гуляли; Пушкин был особенно весел. Часу в одиннадцатом вечера сестры и я проводили Пушкина по дороге в Михайловское... Вдруг рано на рассвете является к нам Арина Родионовна, няня Пушкина. Это была старушка чрезвычайно почтенная, лицом полная, вся седая, страстно любившая своего питомца. /.../ Она прибежала, вся запыхавшись; седые волосы ее беспорядочными космами спадали на лицо и плечи; бедная няня плакала навзрыд. Из расспросов ее оказалось, что вчера вечером, незадолго до прихода Александра Сергеевича в Михайловское прискакал какой-то не то офицер, не то солдат (впоследствии оказалось – фельдъегерь). Он объявил Пушкину повеление немедленно с ним вместе ехать в Москву. Пушкин успел только взять деньги, накинуть шинель, и через полчаса его уже не было. „Что же, взял этот офицер какие-нибудь бумаги с собой?“ – спрашивали мы няню. – „Нет, родные, никаких бумаг не взял, и ничего в доме не ворошил; после только я сама кой-что поуничтожила“. „Что такое?“ – „Да сыр этот проклятый, что Александр Сергеевич кушать любил, а я так терпеть его не могу, и дух-то от него, от сыра-то этого немецкого, такой скверный“». ⁴³

Фельдъегерь увез Пушкина в Москву, где его ожидало свидание с Николаем I. Получив свободу от деревенской ссылки, Пушкин провел сентябрь и октябрь в Москве, сделался центром внимания всей Москвы, но, вернувшись в Михайловское в ноябре, с удовольствием писал оттуда П. А. Вяземскому:⁴⁴

«Вот я в деревне. Доехал благополучно, без всяких замечательных пассажей /.../ Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни, хамов и моей няни, ей-богу, приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и пр. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости, молитвы, вероятно, сочиненной при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом». /.../

Пушкин не усидел в Михайловском. Его манили к себе Москва, Петербург с их журналами, литературными кружками, театрами, с кругом друзей. И встревоженная няня решила написать письмо своему исчезнувшему питомцу. Вот что писала Арина Родионовна Пушкину генваря 30 дня 1827 года из Михайловского:

«Милостивый государь Александр Сергеевич имею честь поздравить вас с прошедшим новым годом из новым счастьем; и желаю я тебе любезному моему благодетелю здоровья и благополучия; а я вас уведомляю что я была в Петербурге: и об вас никто неможит знать где вы находитесь и твои родители, о вас соболезнуют что вы к ним неприедете; а Ольга Сергеевна к вам писала при мне содною дамою вам известия а мы батюшка от вас ожидали, письма когда вы прикажите, привозить книги нонемогли дождатца: то извознамерились по вашему старому приказу отправить: то я посылаю, больших и малых, книг сщетом 124 книги архипу даю денег 90 рублей: присеем любезный друг я целую ваши ручки с позволения вашего съто раз и желаю вам то чего и вы желаете и прибуду к вам с искренным почтением Арина Родивоновна».

Арина Родионовна была неграмотна и письмо писано кем-то с ее слов.⁴⁵

⁴² Лорер Николай Иванович (1797 или 1798–1873) – дворянин, участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. Автор мемуаров. Декабрист, член Северного и Южного обществ. После восстания 1825 года заключен в Петропавловскую крепость, приговорен к 12 годам каторги в Сибири.

⁴³ М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское. СПб. Ведомости. 1866, № 163. (Прим. С. Н. Дурылина).

⁴⁴ Пушкин к П. А. Вяземскому, 9 ноября 1826 года из Михайловского.

⁴⁵ К сожалению, мы не нашли источник, по которому можно было бы считать текст этого письма.

Пушкин отвечал няне на это ее письмо. К сожалению, письмо поэта до нас не дошло, а уцелело ответное письмо Арины Родионовны. На нем помета: 6 марта 1927 года,⁴⁶ Тригорское. Это значит, что оно писано кем-то из тригорских барышень со слов старушки.

«Любезный мой друг Александр Сергеевич, я получила письмо и деньги, которые вы мне прислали. За все ваши милости я вам всем сердцем благодарна; вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только когда засну, забуду вас. Приезжай, мой Ангел, к нам в Михайловское – всех лошадей на дорогу выставлю. Я вас буду ожидать и молить Бога, чтобы Он дал нам свидеться. Прощай, мой батюшко, Александр Сергеевич. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила – поживи, дружок, хорошенько, – самому слюбится. Я слава Богу здорова, – целую ваши ручки и остаюсь вас многолюбящая няня ваша Арина Родионовна».

Ответом Пушкина на это письмо является его стихотворение, обращенное к няне:

Няне

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя,
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые ворота
На черный отдаленный путь;
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе.....

Еще 17-летним юношей, еще только вступая на путь поэта, Пушкин-лицеист с глубокой нежностью вспоминал о своей няне:

Я сам не рад болтливости своей,
Но детских лет люблю воспоминанье.
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.
Под образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины,
Драгой антик, прабабушкин чепец

⁴⁶ В книге П. В. Анненкова «Материалы для биографии А. С. Пушкина» (1855. С. 4) не указан год письма, а только число и месяц. Незавершенное стихотворение Пушкина «Няне» пушкинисты датируют 1926 годом. Если так, то оно не может быть ответом на письмо няни от 1927 года, хотя Анненков считает его ответом на это письмо.

И длинный рот, где зуба два стучало, —
Всё в душу страх невольный поселяло.
Я трепетал – и тихо, наконец,
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум...

«Сон», 1816. (Отрывок)

Стихи эти полны благодарностью к Арине Родионовне за то, что она с ранних детских лет ввела поэта в чудесный мир народных былин и сказок и навсегда сроднила его с великой поэзией родного народа.

Няня с детства внушила своему питомцу любовь и уважение к народному творчеству: «Предания русские ничуть не уступают в фантастической поэзии преданиям ирландским и германским». (Плетневу, 1831).

На себе узнав из уст няни всю правду и красоту русской сказки, Пушкин писал в 1830 году: «Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка. Критики наши напрасно ими презирают»./.../

Арина Родионовна скончалась в 1828 году. Пушкина в это время не было в Петербурге.

На смерть Арины Родионовны издали откликнулся Н. М. Языков. Он вспомнил долгие вечера, проведенные с Пушкиным и его няней в занесенном снегом Михайловском, и перед ним встал, как живой, образ старушки:

На смерть няни А. С. Пушкина

Я отыщу тот крест смиренный,
Под коим, меж чужих гробов,
Твой прах улегся, изнуренный
Трудом и бременем годов.
Ты не умрешь в воспоминаньях
О светлой юности моей,
И в поучительных преданьях
Про жизнь поэтов наших дней...

.....

Мы пировали. Не дичилась
Ты нашей доли – и порой
К своей весне переносилась
Разгоряченной мечтой;
Любила слушать наши хоры,
Живые звуки чуждых стран,
Речей напоры и отпоры,
И звон стакана об стакан!
Уж гасит ночь свои светила,
Зарей алеет небосклон;
Я помню, что-то нам про сон

Давным-давно ты говорила.
Напрасно! Взял свое Токай,
Шумней удалая пирушка.
Садись-ка, добрая старушка,
И с нами бражничать давай!
Ты Расскажи нам: в дни былые,
Не правда ль, не на эту стать
Твои бояре молодые
Любили ночи коротать?
Не так бывало! Слава Богу,
Земля вертится. У людей
Все коловратно; понемногу
Все мудреней и мудреней.
И мы... Как детство, шаловлива,
Как наша молодость, вольна,
Как полнолетие, умна,
И как вино, красноречива,
Со мной беседовала ты,
Влекла мое воображение...
И вот тебе поминовенье,
На гроб твой свежие цветы!
Я отыщу тот крест смиренный,
Под коим, меж чужих гробов,
Твой прах улегся, изнуренный
Трудом и бременем годов.
Пред ним печальной головою
Склонюся; много вспомню я —
И умиленную мечтою
Душа разнежится моя!

Осенью 1835 года Пушкин в последний раз приехал в Михайловское и писал оттуда жене: «В Михайловском нашел я все по старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего; все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Наприм<ер>, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменялась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарился да и подурнел. Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был».

Прошло сто лет со дня смерти великого питомца Арины Родионовны,⁴⁷ и полностью оправдалась уверенность поэта Языкова, сказавшего над могилой няни поэта:

Ты не умрешь в воспоминаньях /.../
И в поучительных преданьях
Про жизнь поэтов наших дней.

⁴⁷ Предположительно, С. Н. Дурылин готовил этот материал для выступления на вечере памяти Пушкина в 1937 году.

Арина Родионовна жива в нашей благодарной памяти и будет жить, доколе будет жить память о ее великом питомце Пушкине.

Иван Сергеевич Аксаков⁴⁸

/.../ Не совершил бы Пушкин своего подвига, /.../ если б он не был цельный художник с живою русскою душою. Эта русская стихия видится мне не в одном только русском языке, доведенном Пушкиным до изумительного совершенства, силы, образности и мужественной красоты, и не во внешнем только содержании его некоторых творений, но еще более во внутренних сторонах его творчества. Вообще можно лишь удивляться, каким образом, при его французском воспитании дома и в Лицее, при раннем, к несчастью, растлении нравов, обычном в то время вследствие безграничного господства в русском обществе французской литературы XVIII века; при соблазнах и увлечениях света мог не только сохраниться в Пушкине русский человек, но и образоваться художник с таким русским складом ума и души, с таким притом глубоким сочувствием к народной поэзии – в песне, в сказке и в жизни?.. Внешнюю разгадку этого явления следует искать, прежде всего, в деревенских впечатлениях детства и в его отношениях к няне. Но и няня, и детские впечатления деревни таились тогда в воспоминаниях почти каждого отъявленного отрицателя русской народности, так что такая русская бытовая черта в поэзии Пушкина является уже сама по себе нравственною его заслугою и оригинальною особенностью. В самом деле, от отрочества до самой могилы этот блистательный прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров и великосветских гостиных, «наш Байрон» притом, как любили его называть многие, не стыдился всенародно, в чудных стихах, исповедовать свою нежную привязанность – не к матери (это было бы еще не странно, так и многие поэты делали), а к «мамушке», к няне, и с глубоко искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою музу... Так вот кто первая вдохновительница, первая муза этого великого художника и первого истинно русского поэта – это няня, это простая русская деревенская баба!.. Точно припав к груди матери-земли, жадно в ее рассказах пил он чистую струю народной речи и духа! Да, будет же ей, этой няне, и от лица русского общества вечная благодарная память! /.../

Заметьте, что в это время в нашей литературе если и встречалось благосклонное упоминание о русской женщине из простонародья, то не иначе как о «простодушной поселанке». /.../

⁴⁸ К материалам о Пушкине и няне в папку «Няни» С. Н. Дурылин подложил свои выписки из «Речи о А. С. Пушкине» И. С. Аксакова, произнесенной 7 июня 1880 года на заседании Общества любителей российской словесности, посвященном открытию памятника поэту в Москве.

Софья Васильевна Капнист-Скалон (1796–1861)

Родилась в семье дворянина, поэта и драматурга В. В. Капниста (1758–1823), автора «Оды на рабство» и комедии «Ябеда». Прожила довольно тихую жизнь. Свои «Воспоминания» написала в 1859 году.

Воспоминания⁴⁹

Я помню себя с четырехлетней моей жизни; /.../ помню маленький домик в три комнаты, с мезонином, с небольшими колонками, с стеклянной дверью в сад и с цветничком, который мы сами обрабатывали и который был окружен густым и высоким лесом.

Тут мы жили с няней, старушкой доброй и благочестивой, которая, выкормив грудью и старшую сестру мою, и старшего брата, так привязалась к нашему семейству, что, имея своих детей и впоследствии внуков не более как в четырнадцать верстах, не оставляла нас до глубокой старости своей и похоронена близ умерших братьев и сестер моих на общем семейном кладбище нашем.

Моя мать, истинный ангел красоты как душевной, так и телесной, жила часто в одиночестве в деревне Обуховке, занимаясь воспитанием детей и выполняя в точности священный долг матери; однако она решилась поручить нас и няне, в преданности, усердии и опытности которой была уверена, единственно потому только, что имела несчастье терять первых детей (из 15-ти у нее осталось только шесть); помню, как во сне, что, вставая с восхождением солнца, няня наша долго молилась перед образом св. мучеников (преподобных. – С. Д.) Антония и Феодосия, висевшим в углу нашей комнаты, с усердием и большим умилением клала земные поклоны; потом будила нас, одевала и, после короткой молитвы вслух, которую сама нам подсказывала, напоив нас молоком или чаем из смородинового листа, отсылала старших братьев со старым слугой Петрушкой в дом к матери, а с нами, с братом Алексеем и со мной, надев нам через плечо в награду за послушание мешочки из простой пестрой материи, спешила в лес собирать, по нашему желанию, если это было осенью, между листьями упавшие лесные яблоки, груши и сливы, которые и сохраняла зимой.

О! Какая радость это была для нас, с каким восторгом мы шумели листьями под ногами нашими и летали между лесом и кустарниками! Как часто добрая няня наша, не находя средства следить разом за обоими нами, для своего спокойствия связывала наши руки платком; тогда по необходимости мы должны были бегать вместе, и это казалось нам еще веселее.

⁴⁹ Воспоминания С. В. Скалон (урожденной Капнист). «Исторический вестник», 1891. Т. XLIV, № 5 (май). С. 339–340. Переизданы в сборнике «Записки и воспоминания русских женщин XVIII – первой половины XIX». М., «Современник». 1990. С. 281–389.

Николай Иванович Пирогов (1810–1881)

Хирург, анатом, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии. Во время Крымской войны был главным хирургом Севастополя. Гробница с его забальзамированным телом находится в Виннице.

Няня Катерина Михайловна⁵⁰

Я начал писать мои записки 5-го ноября 1879 года, и сегодня, 21-го ноября, опять принимаюсь, после промежутка в несколько дней.

Пишу для себя и не прочитываю до поры до времени писанного. Поэтому найдется немало повторений, недомолвок; найдутся и противоречия, и непоследовательности. Если я начну исправлять все это, то это было бы знаком, что я пишу для других.

Я признаюсь сам себе, что вовсе не желаю сохранять навсегда мои записки под спудом; те, однако же, лица, которым когда-нибудь будет интересно познакомиться с моим внутренним бытом, не побрезгают и моими повторениями: они, верно, захотят узнать меня таким, каков я есть, с моими противоречиями и непоследовательностями. /.../

Другая черта, свидетельствующая о моей детской наивности в ту пору, была привязанность к моей старой няне. Эта замечательная для меня личность называлась Катериною Михайловною; солдатская вдова из крепостных, рано лишившаяся мужа и поступившая еще молодою к нам в дом, с лишком 30 лет оставалась она нашим домашним человеком, хотя и не все это время жила с нами; горевала вместе с нами и радовалась нашими радостями. Я сохранил мою привязанность, вернее, любовь к ней до моего отъезда из Москвы в Дерпт.

Видел ее и потом еще раза два; но в последние годы она начала сильно зашибать; и прежде это добрейшее существо с горя и с радости иногда прибегало к рюмочке, но уже одна рюмка вина сейчас выжимала слезы из глаз. «Михайловна заливается слезами» – это значило, что Михайловна, с горя или с радости, выпила рюмку. Мы – и дети, и взрослые – все это знали и, зная, иногда с нею же плакали, не зная о чем. Все существо этой женщины было пропитано насквозь любовью к нам, детям, вынянченным ею.

Я не слышал от нее никогда ни одного бранного слова; всегда любовно и ласково останавливала она упрямство и шалость; мораль ее была самая простая и всегда трогательная, потому что выходила из любящей души. «Бог не велит так делать, не делай этого, грешно!» – и ничего более.

Помню, однако же, что она обращала внимание мое и на природу, находя в ней нравственные мотивы. Помню, как теперь, Успеньев день, храмовый праздник в Андроньевом (правильно: Андрониковом. – В. Т.) монастыре; монастырь и шатры с пьяным, шумящим народом, раскинутые на зеленом пригорке, передо мною, как на блюдечке, а над головами толпы – черная грозовая туча; блещет молния, слышатся раскаты грома. Я с нянею у открытого окна и смотрим сверху. «Вот, смотри, – слышу, говорит она, – народ шумит, буянит и не слышит, как Бог грозит; тут шум да веселье людское, а там, вверху, у Бога – свое».

Это простое указание на контраст между небом и землею, сделанное, кстати, любящею душою, запечатлелось навсегда и всякий раз как-то заунывно настраивает меня, когда я встречаю грозу на гулянье. Бедная моя нянька, как это нередко случается у нас с чувствительными, простыми людьми, начала пить и, не перенося много вина, захирела, и так, что собралась уже умирать; не знаю уже, почему, но решено было поставить промывательное; я был тогда уже студентом и в первый раз в жизни совершил эту операцию над моею нянею; она удивилась моему искусству и после сюрприза тотчас же объявила: «Ну, теперь я выздоровлю». Через три дня она, действительно, поднялась с постели и жила еще несколько лет; прожила бы, может быть, и более, если бы, на свою беду, не нанялась у Авдотьи Егоровны Драгутиной, молодой жены пожилого мужа-купца. Был у них сынок, Егоринька; к нему и взяли мою няню, а через няню познакомилась и наша семья с Драгутиными.

⁵⁰ Пирогов Н. И. Вопросы жизни. Дневник старого врача. Сочинения Пирогова. Т. 2. Издание в память столетия со дня рождения Николая Ивановича Пирогова. 1810–13 ноября 1910. Издание Пироговского т-ва. Киев. 1910.

О, tempora, o mores! – (О времена, о нравы! – пер. с лат.). Цицерон, которого я тогда не читал, кажется, всегда и везде кстати.

Замоскворечье; хорошенькая, веселенькая, красиво меблированная квартира во втором этаже. Хозяйка, лет 25, красивая, всегда наряженная брюнетка с притязанием на интеллигенцию, с заметной и для меня, подростка, склонностью к мужскому полу, с раннего утра до ночи одна с маленьким сыном, нянею и учителем, кандидатом университета, рослым и видным мужчиною, Путиловым. Муж, угрюмый, несколько напоминающий медведя, впрочем, не из дужинных и добропорядочный во всех отношениях, целый день в лавке, в гостинном дворе; дом – как полная чаша; чай пьется раз пять в день, кстати и некстати.

Муж, возвращающийся поздно домой, усталый, идет прямо к себе в комнату, пьет чай, ужинает и ложится спать. Ребенок уходит спать в детскую с нянею. Хозяйка и учитель остаются наедине, в двух больших комнатах, пьют чай, запирают и входные, и выходные двери, и так на целую ночь до рассвета. Ежедневно одна и та же история.

– Да что же они там делают одни? – любопытствовал я узнать от моей няни.

– Да кто же их, батюшка, знает; никого не пускают к себе – как тут узнаешь? Слышно, что то говорят, то молчат.

– А муж что?

– Муж спит.

Так продолжается целые годы. Я охотно посещал этот дом, забавлялся и с мальчиком, шутил и сплетничал с Авдотьей Егоровною, и всегда в присутствии няни (не упускавшей меня из виду) пил чай, кофе, шоколад, сколько в душу влезало. Однажды прихожу – молчанье, темнота, шторы спущены. Что такое? Авдотья Егоровна что-то нездорова. Смотрю – моя Авдотья Егоровна лежит на полу, в одном спальном белье; в комнате чем-то летучим пахнет. Слышу – что-то бормочет; няня около нее и делает мне какие-то знаки, чтобы я вышел. Что за притча! Оказалось, что эта милая дамочка чистит себе зубы табаком и потом упивается гофманскими каплями, бывшими тогда в большом употреблении как домашнее средство против всех лихих болезней. Потом гофманские капли заменились полынною, а, наконец, и простяком.

Учитель кончил курс. Хозяин обрюзг более прежнего и сделался еще неприступнее; а хозяйка, спившись с круга, увлекла в запой и мою добрую, милую няню, Катерину Михайловну. /.../

* * *

Феоктистов был казеннокоштный студент⁵¹ и жил вместе с пятью другими студентами в 10-м номере корпуса квартир для казеннокоштных. /.../

10-й номер я посещал ежедневно, несколько лет сряду. /.../ На первых же порах, после вступления моего в университет, 10-й номер снабдил меня костями и гербарием; кости конечностей, несколько ребер и позвонков были, по всем вероятностям, краденые из анатомического театра от скелетов, что доказывали проверченные на них дыры. /.../

Когда я привез кулек с костями домой, то мои домашние не без душевной тревоги смотрели, как я опоражнивал кулек и раскладывал драгоценный подарок 10-го номера по ящикам пустого комода, а моя нянюшка, Катерина Михайловна, случайно пришедшая в это время к нам в гости, увидев у меня человеческие кости, прослезилась почему-то, и когда я стал ей демонстрировать, очень развязно поворачивая в руках лобную кость, бугры, венечный шов и

⁵¹ Казеннокоштный студент университета в России находился на полном содержании государства в отличие от своекоштного, живущего на свой счет. Казеннокоштные студенты жили в общежитиях под надзором инспекции. По окончании университета они были обязаны прослужить не менее шести лет по ведомству министерства народного просвещения, а медики – по военному ведомству. В 1859 году казенное содержание во всех университетах было заменено стипендией.

надбровные дуги, то она только качала головою и приговаривала: «Господи, Боже мой, какой ты вышел у меня бесстрашник!»

Николай Петрович Макаров (1810–1890)

Лексикограф, концертирующий гитарист. Организатор первого международного конкурса гитаристов в Брюсселе. Составил ряд словарей. По некоторым данным, автор песни «Однозвучно гремит колокольчик». Его мемуары вышли в свет в 1881–1882 годах.

Мои семидесятилетние воспоминания...⁵²

Мои родители и безотрадное младенчество

Мать моя, без малейшей видимой причины, по необъяснимому какому-то противоречию или капризу в духе человеческого, невзлюбила меня с первого же дня моего рождения, и потом уже не пускала меня к себе на глаза. Я рос то в девичьей с девками, то в комнате бабушки по отцу, в комнате уединенной, отделенной сенями от прочих покоев, которую поэтому очень удачно называли «одинокой». Я почти всегда был или в одинокой с бабушкой, которая любила меня до нельзя, души во мне не чаяла и баловала на всякие манеры, или в мезонине, с нянею Соломониной, которая тоже очень любила меня, но баловала менее. /.../

Со смертью матери /.../ передо мною широкое поле, открытая дорога: куда угодно, на все четыре стороны. Бегай, шуми, шали, кричи, бей, ломай, колоти, дерись, озорничай, лазь по деревьям, по заборам, по углам изб за птичьими гнездами, играй с ребятишками, дворовыми и крестьянскими, травя кошек собаками, бегай на гумно купаться в пруде по пяти раз в день, делай из комьев снега избы и дворцы, шлендай по весенним лужам, сняв башмаки и засучив панталоны по колено, запрягай в салазки большую дворняжку Серку, которая иногда повезет, а в другой раз больно укусит; /.../ словом: полная, бесконтрольная свобода и независимость во всех словах и действиях. /.../

А что же на все это отец?.. А ничего... Он жил постоянно в городе, по своей должности. В деревню же наезжал очень редко. А когда приезжал, то занимался более «Вихрами, Неганами, Нянями и Злобиаками» с братией, нежели детьми, которые оставались под надзором бабушки и двух няней: моей, стосемиленной Соломонины, и сестриной – шестидесятилетней Дарьи.

А что же бабушка? Бабушка, как все бабушки: все, что ни сделает внучек, все хорошо, за все погладит по головке...

А что же умная и строгая няня Соломонида?.. Она ходила за мной лишь до семилетнего возраста, ослепла и прожила потом еще восемь лет. Меня же передали на руки другой, далеко не такой старой, но глупой и суеверной няни.

Мое детство, многосторонняя детская деятельность и начало обучения

Я был чрезвычайно пытлив и любознателен во всем, что надеялся узнать через расспросы. Столетняя няня моя, с которой любил я разговаривать по целым часам, в особенности была мастерица рассказывать сказки о «Еруслане Лазаревиче», о «Бове Королевиче», о «Звере Норке подземельном» и множество других. Бабушка тоже, с своей стороны, не скупилась на сказки, особенно после удаления няни Соломонины. Но что еще занимало меня в высшей степени, так это черт. Беспреданно слышал я вокруг себя слова: нечистая сила, черт, дьявол, злой дух, домовый, леший, водяной. И страшно становилось мне от этих слов, и смертельно хотелось мне узнать, что такое этот черт и дьявол, со всею честною компанией, порожденною болезненным воображением суеверия и невежества.

- Няня! – спрашивал я однажды Соломонины. – В самом деле, есть на свете черт?
- Говорят, что есть, мой голубчик.
- А ты его видала когда-нибудь?

⁵² Н. Макаров. Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя полная предсмертная исповедь. – Часть первая. СПб. 1881.

– Нет, мой голубчик, никогда не видала.

– А кто другой видал его?

– Не знаю, мой родной, не слыхала.

– А я слышал от Хавроньи, что тетенькин скотник Спиридон встретил раз ночью черта на сенике. Говорит: такой страшный! С рогами, с хвостом и с железными когтями на руках. И на козла похож, и на человека. Да только такой злой.

– Э, батюшка! Не верь ты этой дуре Хавронье. И охота тебе разговаривать с нею, с полоумною! Я сто восемь лет прожила на свете, а черта никогда не видала, да и не слыхала, чтобы кто другой его видел.

– А мне бы очень хотелось посмотреть на него. Хотя и страшно, а все бы взглянул на него разочек, чтобы знать, что это за черт такой?

– Господь с тобою, голубчик! Что это вздумал ты такие ужасы? Да сохранит тебя Бог от всякой нечистой силы! И думать-то грешно об этом, а не только желать встретиться с злым духом.

И няня примется креститься и читать молитву; а потом осенит крестным знамением и меня; и я перестану расспрашивать о черте.

Во мне была еще одна замечательная черта. Отец мой, большею частью, жил в городе, оставляя детей в деревне под надзором няnek и бабушек. Все это женское народонаселение ужасно боялось грома. Когда начиналась гроза, все окна в доме затворялись крепко-накрепко, и все женское царство – бабушка, сестра моя, две няни и ключница – собиралось в одну комнату, где было только одно окно, которое завешивалось шторой и еще чем-нибудь; и потом, прижавшись одна к другой, сидели в темном углу комнаты, крестясь после каждого удара грома. Я же, напротив, ужасно любил грозу. Как только загремит и польется дождь, я бегом в мезонин или, как называли его няня и люди, в «мизанет», войду и прямо к окну; растворю его настежь и давай наслаждаться и громом, и молнией, и, в особенности, проливным дождем, под который подставляю и руки, и голову, высываясь из окна донельзя. Иногда Соломонида и накроет меня в этом общении с разъяренными стихиями, подбежит к окну и закричит испуганным голосом:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.